

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ

А. Э. АНИСИМОВА
**«НОВЫЙ ИСТОРИЗМ»
НАУКОВЕДЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ**

МОНОГРАФИЯ

МОСКВА
2010

ББК 72
А 67

**Центр научно-информационных исследований
по науке, образованию и технологиям**

Ответственный редактор –
д-р. филос. наук, профессор *А.И. Ракитов*

Анисимова А.Э.
А 67 **«Новый историзм»: Науковедческий анализ / РАН.**
ИНИОН. Центр научн.-информ. исслед. по науке, обра-
зованию и технологиям; Отв. ред. Ракитов А.И. – М.,
2010. – 154 с.
ISBN 978-5-248-00508-6

Впервые в науковедческом контексте обсуждаются возникновение и эволюция «нового историзма» – влиятельного направления в современной гуманитарной науке США. Исследуются его институциональные и дисциплинарные структуры, концептуальные основы и междисциплинарная методология. На примере анализа биографий К. Линнея, Ч. Дарвина и Р. Фейнмана, созданных в рамках «нового историзма», оценивается его вклад в изучение малоизвестных фактов развития науки.

Для науковедов, философов, культурологов, литературоведов, историков.

ББК 72

СОДЕРЖАНИЕ

От редактора	5
Знакомьтесь: «Новый историзм» (вместо введения)	7

Глава 1. «НОВЫЙ ИСТОРИЗМ»: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

1.1. Институционализация как форма легитимации знания	21
1.2. Институциональная история «нового историзма»	32

Глава 2. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ «НОВОГО ИСТОРИЗМА»

2.1. С точки зрения «перспективы настоящего»	42
2.2. Проблема «мимесиса»	49
2.3. Исследование практики «обмена» в «новом историзме»	51
2.4. Проблема канона	56

Глава 3. ОТ ИЗУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ К ИССЛЕДОВАНИЯМ КУЛЬТУРЫ

3.1. Культурологический подход в литературоведении	67
3.2. Исследование «маргинального» в «новом историзме»	72
3.3. «Женское» и «мужское» в исследованиях культуры	82
3.4. Соотношение «вербального» и «визуального» в культуре: Опыт «нового историзма»	90

Глава 4.
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГЛАЗАМИ
ЛИТЕРАТУРОВЕДОВ

4.1. «Новоисторическое» исследование как меланхолическое созерцание.....	93
4.2. Современное конструирование истории: В поисках аутентичности.....	102
4.3. Трудно ли писать историю?	113
4.4. Дискуссия о междисциплинарности	118

Глава 5.
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ИСТОРИИ НАУКИ

5.1. Диаграммы Ричарда Фейнмана: Граница между искусством и псевдонаукой	122
5.2. Таксономия Линнея	127
5.3. Миссионерское служение Ч. Дарвина.....	130
5.4. Опыты «культурного перевода»	134
Заключение	140
Список литературы	146

ОТ РЕДАКТОРА

Обычно редактирование больших научных текстов является делом нелегким, требует большой затраты сил, занимает много времени. Однако я читал и редактировал эту монографию с большим интересом и извлек из нее много полезного. Это не комплимент, это констатация того простого факта, что появилась одна из первых работ, посвященных науковедческому анализу одного из новых и крайне сложных, многоплановых, полиструктурных направлений в современном научном гуманитарном знании. Это тем более важно, что науковедческих исследований, посвященных естественным, математическим и инженерно-техническим наукам, довольно много. Работ же, посвященных институциональной, дисциплинарной и концептуальной структуре, условиям и причинам возникновения, а также динамике развития и модификации современных социально-гуманитарных знаний, чрезвычайно мало не только у нас, но и на Западе.

В этой книге рассматривается новое гуманитарное направление, возникшее в США в начале 80-х годов прошлого столетия и продолжающее развиваться на наших глазах, видоизменяясь, модифицируясь и расширяясь, охватывая новую проблематику и разрабатывая новые методы исследования. В этом предисловии нет смысла пересказывать содержание отдельных глав и параграфов. Я думаю, что, начав читать эту книгу, читатель сам сумеет определить качество ее содержания, научный уровень и манеру литературного изложения. Но вот на что действительно следует обратить внимание, так это на то, что не только объект изучения – «новый историзм», как особое междисциплинарное направление, изучающее взаимосвязь литературы, культуры, этнографических и историко-научных проблем, но и сама методология, применяемая автором, является многоплановой, сложной и зачастую неожиданной.

В отличие от традиционных науковедческих и наукометрических исследований, часто увлекающихся формальными характеристиками науки, монография А.Э. Анисимовой демонстрирует результаты, которые можно получить на основе концептуального аппарата современного науковедения, позволяющего сопоставлять чрезвычайно широкий круг явлений, которые кажутся на первый взгляд разнородными, но в действительности представляют элементы и подсистемы широкого культурно-исторического потока. Поэтому читатель найдет в этой книге очень полезную информацию не только о том, как «новые историки» изучали и интерпретировали культуру английского Ренессанса, но и о том, как возникает концептуальная система «культурного перевода», позволяющего понимать представителям одних культур носителей других культурных представлений, образов, способов мышления и поведения.

Еще более интересным является то, что в рамках «нового историзма» исследуется и сама наука. И это позволяет получить совершенно новые знания о таких мыслителях, как Дарвин, Линней или Фейнман, в совершенно неожиданном ракурсе, который отсутствует в традиционных работах по истории науки.

Разнообразие проблем, которые изучаются «новыми историками», чрезвычайно велико. И я считаю большим достижением молодого автора то, что ей удалось показать концептуальную связь и внутреннее единство «нового историзма», постигаемые с помощью вновь избранной методологии.

А.И. Ракитов

ЗНАКОМЬТЕСЬ: «НОВЫЙ ИСТОРИЗМ» (Вместо введения)

«Новый историзм», сложившийся в рамках американского литературоведения, представляет собой значительное явление в гуманитарном знании двух последних десятилетий XX в., представители которого предприняли попытку создать конкурентоспособное направление, которое могло бы занять свою нишу в академическом сообществе. Авторы направления со всей определенностью поставили проблему востребованности гуманитарного знания в современном обществе.

В последней трети XX в. особенно заметной становится трансформация дисциплинарных форм гуманитарного знания: видоизменяются традиционные дисциплины, возникают новые (гендерные исследования, культурные исследования, постколониальные исследования).

По своей сути «новый историзм» – явление междисциплинарное. При этом чрезвычайно важно учитывать его изначальную связь с литературоведением. Если оценивать круг вопросов, характерных для «нового историзма», то они указывают на базовое филологическое образование многих его представителей. На примере «нового историзма» можно проследить, как осуществляется сдвиг литературоведческих исследований в сторону исследований культуры, характерный для гуманитарных наук разных стран.

«Новый историзм» возник в рамках дисциплины «английская литература», однако исследования, проводимые в его рамках, существенным образом отличались от традиционных литературоведческих работ. В связи с этим актуальным является изучение понятийного аппарата, характерного для «нового историзма». В центре внимания исследователей оказываются уже не только такие собст-

венно литературоведческие понятия, как «текст» и «контекст», но и такие понятия, как «идеология», «репрезентация» и др.

В понимании авторов «нового историзма» введение новых понятий означает изменение не объекта исследования, а угла зрения. «Литература» также воспринимается ими как угол зрения, но более характерный для предыдущих поколений исследователей. Недостатком «литературности» было изучение текстов как заведомо не связанных с реальностью. По мнению представителей направления, в традиционном литературоведении реальное значение выдуманных историй недооценивалось или намеренно занижалось в идеологических целях. На исправление именно этого положения дел был направлен предложенный «новыми историками» проект под названием «поэтика культуры», где «культура» становится антиподом «литературы» и своеобразным выражением «реальности».

Знание не существует вне конкретных институциональных форм, в рамках которых оно вырабатывается: университетов, исследовательских центров, проектов, журналов, интернет-сайтов и прочих организаций. При этом институциональные формы оказывают существенное влияние на концептуальное содержание знания, во многом определяя приоритетные направления исследований, закрепляя в качестве ведущих те или иные теории.

С институциональной точки зрения «новый историзм», безусловно, состоявшееся направление. Об этом свидетельствует развернутая под брендом «новый историзм» институциональная структура: кафедра, журнал, тесное сотрудничество с профессиональными литературоведческими организациями, издательские и интернет-проекты.

Изучение форм институционализации знания позволяет поставить актуальный вопрос социальной значимости гуманитарного знания. Так, английская литература длительное время оставалась центральной дисциплиной в системе высшего гуманитарного образования США. Эта дисциплина была заимствована из английской системы образования, но ее значение в американском обществе было особым. Наряду с тем, что она сохраняла и воспроизводила знание об определенном корпусе текстов, английская литература рассматривалась как дисциплина, призванная объединить нацию, поскольку именно такая функция в США была возложена на английский язык. Эта дисциплина содержала в себе огромный потенциал для будущих гуманитарных исследований.

Не менее социально нагруженными в США оказываются и исследования культуры. Со времени их возникновения и распространения в США, конца XIX в., в этих исследованиях поднимаются острые социальные проблемы, выдвигаются требования восстановления социальной справедливости. В тесной связи с дискуссиями о культуре проводилась политика в области всеобщего образования в США, развивалось женское движение и так далее. «Новый историзм» вполне вобрал в себя эту социальную энергию исследований культуры.

Профессиональное сообщество отнеслось к «новому историзму» крайне неоднозначно. Представителей течения обвиняли, с одной стороны, в излишней увлеченности историческими анекдотами, в небрежении к такому важному фактору, как историческая эпоха, а с другой – в эклектичности и неоригинальности подхода. Некоторые критики полагали, что «новый историзм» лишь использует модные идеи постмодернизма, марксизма, феминизма, по сути не предлагая ничего нового.

Нередко случалось так, что исследователи, первоначально пытавшиеся лишь оценить статус нового направления, сами присоединялись к нему и начинали активно участвовать в каких-то начинаниях «новых историков» (к числу таковых можно отнести Б. Томаса, В.Б. Майклза). Сами же «новые историки» зачастую выступали в роли интерпретаторов своего направления.

Для нас, однако, важно не определить уместность упреков в адрес «нового историзма», а обратить внимание на тот факт, что рецепция «нового историзма» является неотъемлемым элементом самого направления. Мы обращаем внимание на критику «нового историзма» как на важнейший механизм его институционализации.

Таким образом, «новый историзм» является влиятельным направлением в современном гуманитарном знании, конкурентоспособность которого основана не на его методологической связности, а на масштабности поднятых в нем проблем. Будучи междисциплинарным по своей сути «новый историзм» сохраняет связь с дисциплиной «английская литература» и несет на себе функции, возложенные на эту дисциплину исторически. Что же касается интереса «новых историков» к проблемам культуры и социума, он основан на традиции изучения культуры в университетах США. Балансируя между «литературой» и «культурой», а точнее между «литературностью» и «культурностью», авторы «нового историз-

ма» создали оригинальную исследовательскую программу, востребованную представителями различных дисциплин.

Целью настоящего исследования является многоплановое изучение специфики «нового историзма» в контексте институциональной и дисциплинарной трансформации гуманитарного знания в 80–90-е годы XX в. Для достижения этой цели предполагается последовательно выявить институциональную специфику «нового историзма»; проследить трансформацию дисциплины «литературоведение» в США, возникновение проблематики культуры в литературоведческих исследованиях; сформулировать концептуальные основы, выработанные в рамках «нового историзма»; рассмотреть, каким образом новая методология положительно сказалась на современных музейных исследованиях, историческом анализе, исследованиях, посвященных истории науки.

Создатели «нового историзма», стараясь прояснить основные положения своей теории, одновременно рассматривали свое направление критически, поскольку критика собственной теории была частью политики репрезентации направления [56; 67; 110; 126]. Иногда отделить тексты представителей направления от литературы о «новом историзме» бывает непросто. Для данного исследования значимыми являются работы авторов как причастных, так и не причастных «новому историзму».

В России интерес к «новому историзму» стал проявлять себя относительно недавно, поэтому целесообразно было бы представить здесь в общих чертах имеющуюся о предмете литературу, как русско-, так и англоязычную. Литературу, посвященную «новому историзму», можно разделить на три основные группы. К первой из них относится литература, посвященная институциональному аспекту «нового историзма». Ко второй – литература, в которой раскрываются концептуальные моменты теории «нового историзма». К третьей – литература, в которой «новый историзм» оценивается с точки зрения новизны.

Есть отдельные публикации, в которых уделяется внимание карьере ведущих представителей направления, основным исследовательским проектам «нового историзма», а также институтам, в рамках которых направление развернулось. Так, важную роль в рассмотрении профессиональных качеств С. Гринблатта сыграла работа П. Стивенса [122], а обстоятельная работа Дж. Графа позволила оценить, как изменилась дисциплина «английская литература» с появлением «нового историзма» [58].

Большую группу составляют работы, посвященные концептуальным основам «нового историзма», ключевым понятиям, характеризующим это направление. В первых исследованиях, посвященных концепции «нового историзма», особое внимание было уделено собственно проблеме «историзма». Начиная с конца 80-х годов XX в. исследователи пытались определить, какая же из форм «историзма» представлена в «новом историзме». Дж. Каллер и Дж. Граф предлагают выбирать среди множества «историзмов» наиболее близкий практике «новых историков». Только в 2001 г. Дж. Питерс предлагает свернуть с этого пути, указав на то, что в «новом историзме» не представлена ни одна из известных форм «историзма» [105]. Ф. Анкерсмит поддержал позицию Дж. Питерса [33].

Изучение «историзма» отвлекло исследователей от проблем, которые, как выяснилось позже, в большей степени характеризуют концептуальную специфику «нового историзма» («представление» (*representation*), «практика обмена», «контекст»). Однако отдельные исследования на эту тему были проведены еще в начале 90-х годов XX в. В 1991 г. Б. Томас подробно рассматривает идею «представления» в своей книге, посвященной «новому историзму» [126]. Он предлагает исчерпывающий анализ этого понятия, касаясь и проблемы составления канона, и проблемы представления культур, и проблемы репрезентативного статуса литературы.

П. Хохендаль останавливается на важнейшей для «нового историзма» проблеме «циркуляции социальной энергии». С. Гринблатт употребил понятие «циркуляция» по отношению к исследованиям культуры, предположив, что смыслы сохраняются в культуре подобно физической энергии. Изучение движения социальной энергии было применимо к капиталистическому обществу, поскольку как раз создавалось для изучения культур капитализма. Это и дало повод П. Хохендалю усомниться в том, что указанная методика будет иметь будущее, ведь на рубеже XX–XXI вв. всем казалось, что на смену капиталистическому обществу приходит общество информационное [77].

Важнейшую для «нового историзма» проблему контекста впервые поднимает К. Прендергаст [107]. Он рассматривает эту проблему в связи с работой С. Гринблатта «По направлению к поэтике культуры». К. Прендергаст считает, что традиционное понимание проблемы контекста напрямую связано с практикой разделения культуры и социума, и эта традиционная точка зрения не распространена в «новом историзме». По нашему мнению, это

очень верное замечание. Представители «нового историзма» действительно считали, что нередко «исторический контекст» является способом отделения социальных проблем от культуры, и старались избегать этого в собственных исследованиях.

Другая попытка определения специфики «нового историзма» основана не на анализе отдельных понятий, а на выделении принципа работы. Одним из таких принципов называется принцип «расшатывания структур». Важно помнить, что методология направления основывалась во многом на критике прежде широко распространенного «универсалистского» подхода к изучению культуры английского Ренессанса. Исследования «универсалистов» предлагали рассматривать культуру Ренессанса как устойчивую культуру. «Новые историки» стремились изменить эти представления, опираясь на принцип «расшатывания устойчивых структур». О том, насколько в «новом историзме» этот опыт оказался успешным, будет рассказано в третьей главе.

Идея описать «новый историзм» как направление, в котором любые стабильные структуры представляются как неустойчивые, была сформулирована уже довольно рано. В 1989 г. Элизабет Фокс-Дженовез говорит об этом впервые [54]. В 2000 г. эту идею развивает Дж. Питерс, высказавший предположение, что представители «нового историзма» отыскивают конфликты даже там, где их не было [105].

Еще одним принципом работы, характерным для «нового историзма», называют «борьбу с небытием». В ряде исследований творчество С. Гринблатта и опыт всего «нового историзма» определяют именно таким образом [122]. Это определение может показаться пафосным, но анализ прикладных работ, проделанный в третьей главе, показывает, насколько оно является точным. В «новом историзме» поднимают из небытия понятия, составляющие плоть культуры. К ним относятся «женское», забытое элитой эпохи Ренессанса, «мужское», забытое исследовательницами-феминистками, «визуальное», забытое многими поколениями исследователей культуры и литературоведов.

Имеется ряд специальных исследований, в которых отдельно рассматривается, что именно нового было разработано в рамках «нового историзма». Возможно, авторы этого направления лишь компиляторы, переписывающие то, что было сделано до них. Здесь действительно существует некая науковедческая проблема. С одной стороны, «новый историзм» удачно вписался в общую структу-

ру современного гуманитарного знания и является его неотъемлемой частью, с другой же стороны, анализ литературы, посвященной «новому историзму», показывает, что исследователи постоянно подвергают сомнению новизну направления. Этот тезис оказался довольно устойчивым в аналитических работах о «новом историзме».

Немецкий литературовед П. Хохендаль [77] считал, что «новый историзм» в институциональном отношении – явление крайне неопределенное и серьезной роли среди других гуманитарных дисциплин не играет. Его голландский коллега Ф.Р. Анкерсмит называл концепцию «нового историзма» непроработанной и призывал скептически отнестись к заявлениям о новизне и значительности «нового историзма» [33].

Интересно, что о непроработанности концепции «нового историзма» заявляли не только исследователи, не имевшие к нему отношения, но и сами его представители. Для А. Визера, под редакцией которого вышла первая подборка текстов о «новом историзме», это мнение тоже было характерно. Методологию «нового историзма» он однозначно называет неопределенной [100]. Большие сомнения в новизне «нового историзма» возникают также у Б. Томаса, хотя этот автор допускает, что его собственная методология близка «новоисторической» [126].

Для нас важно зафиксировать как устойчивость внимания к проблеме содержательной «новизны» «нового историзма», так и явную недостаточность такой постановки вопроса. Ведь даже если со скрупулезной точностью установить, что явление это совсем не новое, с небосклона научной гуманитарной жизни США оно не исчезнет.

На русском языке количество публикаций о «новом историзме» невелико, однако важно отметить, в каком контексте российские исследователи обращаются к опыту «нового историзма». В 2000 г. С. Козлов написал небольшую вступительную заметку к двум переводам по теме «нового историзма», в которой определил специфику интереса российских ученых к «новому историзму» в контексте «сближения русского и американского литературоведения». В ней, в частности, он отмечал, что С. Гринблатт заимствует некоторые методологические принципы у Ю. Лотмана. К этим принципам относятся «социально-историческая активность человека» и «структура поведения определенной исторически и культурно конкретной группы» [9].

В другом номере журнала «Новое литературное обозрение» развернулась полемика отечественных ученых относительно «нового историзма». В ней участвовали А. Эткинд, И. Смирнов, С. Зенкин, Л. Гудков, Б. Дубин. Здесь авторы, полемизируя между собой, пытались определить как специфику «нового историзма», так и перспективы использования его методологии в отечественной науке. Особое внимание было при этом уделено взаимосвязи творчества С. Гринблатта и М. Бахтина. С. Гринблатт, по сути, заимствует у М. Бахтина технику рассмотрения «народной» культуры в «официальных» текстах. На эту важную особенность «нового историзма» указывает С. Зенкин [6, с. 75].

«Новый историзм» попадает в поле зрения Д. Хапаевой [28], которая предприняла свою попытку очертить современное гуманитарное пространство России. Несмотря на то, что «новый историзм» только формулируется как предмет будущего обсуждения, в России довольно рано зарождается идея «русского “нового историзма”». Воплотить эту идею в жизнь пока не удастся, потому что позиционируемые здесь российские «новые историки» (А.Л. Зорин, О. Проскурин, А. Эткинд) слишком далеко отстоят друг от друга и не мыслят себя представителями единого направления, хотя бы институционально. Усилия, сделанные отечественными исследователями для того, чтобы поспешно присвоить себе начинания «нового историзма», можно объяснить необычной популярностью и влиятельностью «нового историзма» в американских университетах конца XX в.

Наряду с литературой, посвященной «новому историзму», мы также основывались на исследованиях, посвященных другим гуманитарным (в том числе и литературоведческим) дисциплинам и направлениям США, Великобритании, Германии, Франции (структурная лингвистика, культурная антропология, «новая критика», «культурный материализм» и так далее) [10; 47; 80], и некоторым важнейшим для данного исследования проблемам и понятиям (проблема мимесиса, проблема исторического контекста) [10; 12]. Однако ключевую роль в исследовании сыграли именно те работы, которые касались «нового историзма».

В книге не только дается анализ литературы, написанной о «новом историзме», но подробно рассматриваются сами исследовательские проекты, предпринятые авторами направления. Наиболее полное представление о «новом историзме» как о целостном явлении дает специализированный междисциплинарный журнал «Ре-

презентейшенс» (*Representations*), издающийся с 1983 г. Другие источники, используемые в данном исследовании, можно поделить на несколько групп:

- исследования, выполненные в рамках «нового историзма»;
- учебники и учебные материалы по курсу «Английская литература»;
- тексты других школ и направлений, в том числе те тексты, на которые представители «нового историзма» открыто опираются;
- некоторые музейные экспозиции.

Такое широкое понимание источника в работе связано со спецификой предмета настоящего исследования.

К числу наиболее значительных исследований, выполненных в рамках «нового историзма», мы относим монографии С. Гринблатта [59–62], книгу Дж. Голдберга [65], а также работу К. Галлахер. Тематически первые работы С. Гринблатта и книга Дж. Голдберга очень близки. Они посвящены проблеме представления власти в литературе и живописи английского Ренессанса. Тогда как книга К. Галлахер написана на ином материале. В 1985 г. ею была выполнена работа «Промышленный переворот в английской художественной прозе» [55]. В ней она подробно рассматривает понятие «идеология» в контексте изучения литературы середины XIX в.

Монографические исследования авторов «нового историзма» являются важными источниками, но при изучении журнала «Репрезентейшенс» возникает более сложная и нюансированная картина «нового историзма». Публикации журнала показывают, насколько широкий спектр тем характерен для авторов направления, насколько разнообразной является методология исследователей.

Именно на анализе статей из «Репрезентейшенс» основываются 3–5 главы книги. Для каждой из выделенных нами проблемных областей были сделаны соответствующие подборки. Так, по проблеме «женское–мужское» были рассмотрены статьи таких авторов, как М. Кэрролл [41], Дж. Дойль [51], Л. Жардин, Д. Миллер [96], М. Роджин [111]. Статьи были написаны как на материале визуальных, так и вербальных источников, представляющих различные культуры и периоды. М. Кэрролл исследует ряд известных картин Рубенса, анализ Л. Жардин основан на текстах Шекспира, работа Д. Миллер опирается на целый ряд разнородных источников (произведения Шекспира, современные фотографии и т.д.). Аналогичным образом представлена проблема «визуальности».

Специфика институционализации науки в США заключается в том, что она тесно связана с образовательным процессом. Поэтому вместе с развитием литературоведения в США меняется концепция учебных пособий. В книге описаны учебники по истории литературы, изданные представителями «нового историзма» [102], а также учебники, изданные авторами, не принадлежащими «новому историзму». Помимо университета Беркли, Стенфордский и Колумбийский университеты проводили активную политику по пересмотру истории литературы. Особенно интересно было обратиться к опыту Колумбийского университета, поскольку он известен своими давними традициями издания учебников по истории литературы [45].

В частности, по изданиям Колумбийского университета можно проследить динамику происходящих в теории литературы изменений. В 1948 г. вышла книга «История американской литературы», а в 1988 г. – «Литературная история США». Вместе с подменой «истории литературы» на «литературную историю» в образовательной системе США произошел важный методологический сдвиг, который был бы невозможен без такого явления, как «новый историзм».

Многие принципы «нового историзма» складывались в связи с теми общими изменениями, которые происходили в американском литературном каноне, списке текстов, предназначенных для прочтения учащимися. Важным документом в изучении проблемы канона стала монография Х. Блума «Западный канон» [39]. Эту книгу можно исследовать по-разному. Она дает полную информацию о структуре классического канона, поскольку Х. Блум хотел зафиксировать в ней саму идею канона. Но одновременно позволяет судить о том, что традиционное изучение литературных текстов в 90-е годы XX в. находилось в глубочайшем кризисе.

О том, какие литературоведческие тексты были особенно важны для «нового историзма», мы узнаем из весьма содержательной статьи С. Гринблатта 1997 г. «Что такое история литературы?» [64]. В статье выстраивается последовательность авторов классических произведений по истории литературы, в которой оказались столь разные историки литературы, как Ф. Бэкон, Г. Лансон, Э. Гринло и М. Арнольд. В творчестве Ф. Бэкона наиболее важным стал его труд «О достоинстве и приумножении наук» [3], в котором, по мнению С. Гринблатта, были заложены основы будущего литера-

туроведения, включая хронологический подход, причинно-следственные конструкции и обращение к «великим книгам».

Г. Лансон, французский литературовед конца XIX в., опубликовал «Историю французской литературы» в 1895 г., а также создал саму идею «истории литературы» [85] как популярного описания литературных произведений и биографии писателей. Его «История литературы» еще не соотносилась с гражданской и политической историей, но представляет собой панораму великих писателей в форме литературных эссе. «История литературы», предложенная Г. Лансоном, со временем и будет противопоставлена «литературной истории», основанной на изучении исторического контекста и социального анализа.

Каждому историку литературы предстоит выбирать между «историей литературы» и «литературной историей». В поисках решения С. Гринблатт обращается к творчеству отчасти близкого ему по духу автора М. Арнольда, английского философа и публициста второй половины XIX в. Как и Г. Лансон, М. Арнольд относился к литературе как к источнику общественной морали, которая может передаваться и воспроизводиться только в рамках культурного развития [35]. Именно обращение к культуре делает творчество М. Арнольда таким привлекательным для С. Гринблатта.

Выше мы описали, на каких авторов «новые историки» опирались, размышляя о том, что такое литературная история. Существует еще одна группа авторов, которых представители направления, так сказать, всегда «держали в голове». Это известные авторы учебников по истории английской литературы эпохи Ренессанса, культивировавшие фигуру Шекспира, а также время, в которое он жил. Т. Спенсер и Э. Тильярд, о которых здесь идет речь, подвергались резкой критике со стороны С. Гринблатта и его коллег [127; 118].

Свои известные работы о елизаветинской культуре эти авторы написали почти одновременно. Т. Спенсер – в 1942 г. и Э. Тильярд – в 1943 г. Методология этих авторов опиралась на широко известную концепцию А. Лавджоя, представителя так называемой «истории идей» [91]. Под его влиянием Т. Спенсер и Э. Тильярд искали в культуре Ренессанса прежде всего устойчивые универсальные идеи, что привело к консервации представлений об этой культуре.

Работа представителя «новой критики» У.К. Уимсета «Интенциональная ошибка» подробно анализируется в монографии в связи с проблематикой автора [135]. Определить, что такое культурный анализ в «новом историзме», нам помогла методика интер-

претации «других» культур, созданная в рамках культурной антропологии [4]. В связи с интересом «новых историков» к миметической функции языка особый интерес вызывает концепция «референциальности», разработанная французскими структуралистами [31].

Может показаться, что эта книга излишне детализирована, изобилует отсылками на конкретные исследования. Когда в России заговорили о «новом историзме» впервые, было очевидно, что отечественные ученые не только не могут договориться о своем отношении к этому интеллектуальному течению, его месте в российском гуманитарном развитии, но и прийти к однозначному выводу, какой именно набор текстов стоит за этим понятием. В отечественной критике внимание распределилось между двумя-тремя американскими исследователями: С. Гринблаттом, Л. Монрозом, К. Галлахер – авторами сборника о «новом историзме» с одноименным названием.

Желание углубляться в предмет возникло не у многих, и прежде всего, конечно, потому, что общий список тем и акцентов казался хорошо знакомым благодаря активному включению российских исследователей в дискуссии о постмодернизме. Телесность, сексуальность, расизм, гендерная проблематика – эти словосочетания и так на слуху, и далеко не все исследователи посчитали своим долгом принимать на веру заокеанские выдумки. Интересно, что даже отечественным шекспирологам «новый историзм» пришлось не по вкусу. Уж слишком невесомыми показались им изыскания С. Гринблатта на фоне хорошо отлежавшейся традиции.

Одной из задач этого исследования было показать, каким именно «новый историзм» действительно был, литературоцентричным, внимательным к зрительному образу, вялым, дерзким, наивным. Несмотря на увесистость самого бренда, в журнале «Репрезентейшенс» встречаются самые разные по качеству работы: одни из них написаны мэтрами, создавшими себе имя еще до появления «нового историзма», другие – молодыми учениками, еще не вполне понявшими, в какое научное сообщество они попали.

Лишь немногие работы увязаны друг с другом тематически, в специальные выпуски. Иногда именно эта увязанность и подсказывает нам, что мы имеем дело с авторами, придерживающимися противоположных взглядов на сходную проблематику, их методологическая отдаленность становится тем более очевидной. Примеры, подтверждающие это, приводятся в книге.

Хочется верить, что эта работа подвигнет читателя создать себе более объемный образ «нового историзма», доверять не только программным заявлениям, но и сложившейся исследовательской практике. Говоря словами «новых критиков», не будем вновь и вновь допускать одну и ту же «интенциональную ошибку».

Глава 1

«НОВЫЙ ИСТОРИЗМ»: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Институциональная организация современного гуманитарного знания крайне разнообразна и имеет свои отличительные, в том числе и национальные, формы. Любое научное направление реализуется посредством целого ряда институтов – университетских кафедр, исследовательских институтов, профессиональных организаций, периодических изданий, исследовательских проектов, конференций и др. Представители вновь возникающего направления должны заявить о себе в научном сообществе: они начинают принимать активное участие в работе уже существующих структур, а со временем создают новые, если существующих институтов оказывается недостаточно. Характер этих институтов оказывает влияние и на содержательную сторону исследований.

При этом следует учитывать, что известные нам научные школы – это, как правило, те школы, которые оказались победителями в сложной борьбе с другими за право занимать определенную нишу в академическом и общегуманитарном пространстве. Довольно трудно восстановить историю тех направлений, которые так и не приобрели известность в профессиональных кругах. Но прояснить, как выглядит процесс легитимации знания тех направлений, которые получили признание, в том числе за пределами изначального дисциплинарного и национального контекста, мы можем.

1.1. Институционализация как форма легитимации знания

«Новый историзм» возник в рамках университетской дисциплины «английская литература» в 80-е годы XX в. Понять исследовательскую программу «нового историзма», в том числе программу исследования культуры, вне той роли, которую играло изучение англоязычной литературы в американских университетах на рубеже XIX–XX вв., невозможно.

По своей значимости среди других гуманитарных дисциплин английская литература в США может быть сопоставлена с историей, занявшей в XIX в. одну из ключевых позиций в университетском образовании европейских стран, где современная модель университетского образования теснейшим образом связана с возникновением национальных государств [18]. В университетах каждого государства сначала на филологических, затем и на исторических факультетах в целях самоидентичности изучали национальную историю [16, с. 11–27].

Население США, быстро увеличивавшееся в ходе иммиграции на рубеже XIX–XX вв., составили представители разных европейских и неевропейских народов, которых объединял английский язык. Поэтому именно язык и учебная дисциплина «английская литература» оказались в центре системы высшего гуманитарного образования США. Изучение англоязычной литературы (в первую очередь, собственно английской, затем и американской) оказалось теснейшим образом связано с задачей создания общенациональной культуры и американской нации как таковой. При этом примечательно, что американцы, настаивая на государственной независимости, перенимают английский литературный канон.

К 70–80-м годам XX в. функция дисциплины «английская литература» изменилась. Знание текстов английской литературы уже не является признаком гражданской состоятельности, но умение ориентироваться в современной литературной теории, способность понимать амбициозные замыслы ее представителей являются некоторым признаком современного образованного человека, его способности социально адаптироваться и занимать видное положение в политике. «Новый историзм» возникает именно в этих условиях устойчиво высокого статуса дисциплины «английская литература» в американских университетах, с одной стороны, и все возрастающего интереса к литературной теории – с другой.

Не менее существенным фактором складывания «нового историзма» была внутриуниверситетская борьба за право профессионально представлять данную область знания. Английская литература не только одна из самых влиятельных гуманитарных университетских дисциплин в США, но и, безусловно, самая представительная по количеству выпускников, получающих академические степени разного уровня по этой специальности. Конкуренция за место на университетской кафедре в этой дисциплине традиционно высокая. Как отмечает Н. Даброу: «Значительное сокращение преподавательских ставок на академическом рынке в 70-е годы XX в. (как раз в то время, когда первые представители “нового историзма” искали работу и претендовали на должности “помощников профессора”. – *Прим. А.А.*) так же важно, как влияние Вьетнамской войны на развитие этого направления» [52, с. 425].

Для нового направления всегда огромное значение имеет личный профессиональный успех первых его представителей. В случае с «новым историзмом» статус направления был во многом определен стремительным карьерным ростом Стивена Гринблатта, его основателя и лидера.

С. Гринблатт (1943 г.р.) учился в Йельском университете в 60-е годы XX в., когда там были популярны французский структурализм и постструктурализм (*French theory*). В 1969 г. Гринблатт начинает преподавать в Калифорнийском университете (*Беркли*), где в 1980 г. он получает должность «полного профессора» и начинает более активно заявлять о собственной исследовательской программе, которую он называет «поэтика культуры». В 1997 г. уже в статусе одного из наиболее влиятельных представителей дисциплины (благодаря именно «новому историзму») переходит на работу в Гарвардский университет. Гринблатт длительное время является членом американской Ассоциации современных языков, и даже был ее председателем (в 2002 г.).

Другим видным представителем «нового историзма» является Кэтрин Галлахер. В 1980 г. она также начинает преподавать в университете Беркли. Позднее становится там же руководителем факультета английской литературы. В другом Калифорнийском университете, Сан-Диего, факультет английской литературы длительное время возглавлял профессор Л.А. Монроз, один из ведущих теоретиков и практических исследователей «нового историз-

ма». Стремительная карьера этих ученых является явным признаком конкурентоспособности всего направления¹.

Не менее важным для понимания «нового историзма» является учет политической ситуации в США во второй половине 70-х – начале 80-х годов XX в., в том числе политики республиканцев в области образования. В США были более и менее благоприятные периоды для развития гуманитарных дисциплин. Государственное субсидирование играет существенную роль для гуманитарного знания и значительно влияет на настроения в академической среде, определяя карьерные возможности выпускников и положение преподавателей.

То же самое, что президент Рональд Рейган (*Ronald Reagan*) находился у власти, крайне негативно сказались на состоянии гуманитарных дисциплин. В 1983 г. Рейган развернул долгосрочный проект «Стратегическая оборонная инициатива» (*Strategic defense initiative*), известный как «Звездные войны», а в 1987 г. запустил шестилетний проект по созданию гигантского ускорителя. Стратегические планы Рейгана потребовали реорганизации всей системы федеральных затрат, деньги на стратегические нужды он предполагал сберечь за счет финансовой поддержки студентов-гуманитариев [109]. В течение двух сроков его правления общее количество безвозмездных грантов сократилось с 55,35 до 31,8%, причем в первую очередь сокращались гранты по гуманитарным специальностям.

Жесткая политика Рейгана в области образования привела к тому, что интерес среди абитуриентов к гуманитарным наукам, в частности к литературоведению, существенно снизился. Об этом свидетельствуют данные, приведенные А. Делбанко [49]. Пик защищенных в США докторских диссертаций, посвященных изучению английской литературы (*English*), пришелся на 70-е годы XX в., тогда как к концу 90-х годов XX в. количество защит по этой дисциплине сократилось на 1/3. Количество защит по другим гуманитарным специальностям также уменьшилось (с 20,7 до 12,7%).

В 1966 г. Рейган, будучи еще губернатором Калифорнии, сократил бюджет Калифорнийского университета на 10%. Так что Калифорния ранее других ощутила на себе действие политического

¹ Характеристика профессиональной деятельности других представителей «нового историзма» приводится в третьей главе.

курса будущего президента. За этим решением последовали студенческие беспорядки, поддержанные преподавательским составом. К. Керр (*Clark Kerr*), например, в результате столкновения с властью был вынужден оставить свой пост президента одного из калифорнийских университетов [109].

Политика Рейгана вызывала критику некоторых его помощников. Так, первый секретарь Рейгана по образованию Т. Белл (*Terrel H. Bell*) полагал, что национальная система образования находится в кризисном состоянии. Им была создана Национальная комиссия, призванная дать оценку качеству образования. В 1983 г. эта комиссия опубликовала отчет «Нация в опасности» (*A nation at risk*), в котором отмечалось, что качество среднего и высшего образования в стране существенно снизилось, и это должно насторожить общественность. Правительство озабочено проблемами безопасности, однако оно забывает, что знание и информация являются сегодня таким же конкурентным товаром, каким раньше были лекарственные препараты, синтетические удобрения и джинсы [109]. Когда Рейгана переизбрали на второй срок, Т. Белл одним из первых ушел со своего поста, поскольку президент продолжал начатую им ранее политику по сокращению федеральных средств, отпускаемых на гуманитарное образование.

Более удачливым, по сравнению с Т. Беллом, политиком в области образования при президенте Рейгане был его второй секретарь по образованию В. Беннет (*William J. Bennett*). В. Беннет был критиком существовавшей системы образования в колледжах и университетах, но его позиция не расходилась со взглядами Рейгана. Он считался специалистом по гуманитарным программам, поскольку ранее возглавлял организацию «Национальные резервы в области гуманитарных наук» (*National endowment for the humanities*). Именно В. Беннет стал основным оппонентом оформлявшегося в эти годы «нового историзма», именно он занимался урегулированием проблемы стенфордских реформаторов, благодаря которым в США появился новый образовательный канон по литературе.

Таким образом, в 80-е годы XX в. государство в США оказывало весьма определенное воздействие на развитие гуманитарного знания. Представители гуманитарных дисциплин, и представители «нового историзма» в их числе, вынуждены были задуматься о том, как придать актуальность своим знаниям в условиях сокращения государственной поддержки гуманитарных программ.

Еще одним важным контекстом институционального оформления «нового историзма» была рецепция направления в академическом сообществе. Борьба за признание нового направления проходила в условиях жесткой критики со стороны профессионального сообщества.

Рецепцию «нового историзма» можно условно разделить на три этапа. Первый этап (1980–1985) характеризовался общей высокой оценкой работ С. Гринблатта, в первую очередь вышедшей в 1980 г. книги «Формирование “я” в эпоху Ренессанса», и предложенных им принципов анализа вне связи с каким-либо направлением. Поскольку многие литературоведы не могли сразу понять специфику «нового историзма», характерные особенности направления были определены не сразу. В течение следующего непродолжительного периода (1985–1987) критика сводилась к сопоставлению «нового историзма» с другими смежными дисциплинами. В этот период и сами создатели нового направления прилагали значительные усилия, чтобы отграничить свой подход от других. Третий этап (1987–1989) характеризуется тем, что критики заговорили о специфике «нового историзма». Многие из них начинают работать над тем, чтобы определить предметное поле и исследовательский подход «нового историзма», вписать его в общую панораму направлений современного литературного и культурного анализа.

Первоначально «новый историзм» был воспринят многими как направление, по многим параметрам противоположное «новой критике», одному из самых влиятельных американских литературоведческих течений середины XX в. В рамках «новой критики» сложился формалистический подход к изучению литературных текстов. Это означает, что «новые критики» сосредоточили свои усилия на изучении структуры литературных текстов, по большей части игнорируя тот исторический контекст, в котором исследуемые произведения появляются и функционируют¹.

Неудовлетворительность подхода, при котором историко-культурный контекст уходил на второй план, осознавали многие известные американские литературоведы еще до появления «нового историзма». В 1980 г. крупный американский литературовед, профессор Ф. Лентрикия обратил внимание на необходимость вернуться к истории в литературоведении, причем, скорее, даже к

¹ Об основных тенденциях в американском литературоведении XIX–XX вв. речь пойдет во втором параграфе первой главы.

историям. Он противопоставлял множество историй единой «тотализированной» истории и считал, что именно в них смогли бы существовать разнородные силы и противоречия [89].

Таким образом, к началу 80-х годов XX в. наметилась тенденция к созданию подхода в литературоведении, альтернативного «новой критике». Сами создатели «нового историзма» помещают свое направление как раз в эту нишу. Л.А. Монроз, ссылаясь на позицию Ф. Лентрикия [13, с. 18], утверждает, что постмарксизм и «новый историзм» характеризуются сдвигом к «историчности».

Если в начале 80-х годов XX в. представители различных литературоведческих школ только присматривались к «новому историзму», то в середине 80-х годов XX в. отношение к «новому историзму» со стороны его оппонентов становится более критическим. Устойчивым становится утверждение, что «новый историзм» – неоригинальное направление, что его положения заимствованы из других дисциплин.

В 1985–1986 гг. Дж. Доллимор [106] и А. Синфилд [114] увидели в «новом историзме» своеобразную версию дилеммы «субъект/структура», характерную для марксистской критики. Смысл марксистского подхода к анализу художественных произведений прошлого состоит в исследовании противоборства исторического субъекта (автора произведения или одного из его персонажей) и господствующей социальной организации. Гринблатт видоизменил марксистский подход довольно существенно, дополнив традиционное для марксизма противостояние «субъекта» «структуре» следующей фазой, внутри которой борющийся субъект приходит в соответствие со структурой. Эта концепция, получившая название теории «ниспровержения / сдерживания» (*Theory of subversion and containment*), была описана Гринблаттом в его статье «Невидимые пули» 1985 г., вышедшей в сборнике «Политический Шекспир» под редакцией Доллимора и Синфилда. Позднее этот текст стал частью книги «Шекспировские сделки» (1988). Теория «ниспровержения / сдерживания» будет рассматриваться подробнее в третьей главе. Здесь же важно отметить, что ничего, кроме разновидности марксизма, А. Синфилд и Дж. Доллимор в «новом историзме» на этом этапе не увидели.

Обвинения в излишней привязанности к марксизму звучали и позднее. В 1987 г. в ведущем журнале Ассоциации современных языков (*Publications of the Modern language association*) появилась статья Э. Пехтера «"Новый историзм" и его неудачи», в которой

Пехтер увязывает марксизм и «новый историзм» очень тесно [104, с. 292]. Эти публикации вызвали внутри «нового историзма» тенденцию к саморефлексии. Авторы направления попытались сами определить расстояние, которое отделяло их от литературоведческого марксизма. И, как оказалось, далеко не все авторы согласились с теорией «ниспровержения / сдерживания», предложенной Гринблаттом. Например, у Л. Монроза она вызвала серьезную озабоченность.

Л. Монроз полагал, что схема Гринблатта создает слишком нединамичное представление об обществе и культуре. В частности, он критиковал приписываемую власти способность продуцировать подрывные поползновения с целью их последующего сдерживания. По его мнению, эта теория не учитывает тот факт, что господствующая идеология существенно зависит от профессиональных, классовых и личных интересов поэтов, драматургов, прочих деятелей культуры, позиции зрителя, читателя, слушателя, а также от автономии самого произведения, его «специфических свойств, возможностей, ограничений» [13, с. 20].

К концу 80-х годов отношение к «новому историзму» меняется. Направление рассматривается уже как вполне самостоятельное, хотя неясной остается его дисциплинарная принадлежность. Крайне важным в этом отношении стало выступление Х. Уайта в сборнике «Новый историзм» в 1989 г., в котором он высказал довольно гибкое мнение относительно проблемы дисциплинарности. «Весь опыт исторических исследований постоянно свидетельствует о необходимости импортировать из других дисциплин концептуальные модели, аналитические методы и стратегии репрезентации» [24, с. 39]. Таким образом, Уайт снимает необходимость в жестком определении дисциплинарного поля «нового историзма», которое не вписывается ни в рамки формализма (формальный анализ литературного текста), ни в рамки исторической науки, для которой характерно слишком узкое понимание контекста.

Описывая ситуацию конца 80-х годов, следует отметить еще одно направление в рецепции «нового историзма», а именно политический срез, что вполне объяснимо в связи с политическими колебаниями общей научной политики в период правления Рейгана. «Новый историзм» был отнесен большинством критиков к направлениям левой ориентации, но важно было оценить степень его «левизны», поскольку иначе возникает вполне закономерный вопрос, каким же образом произошла его дальнейшая институционализация. На эту проблему существовало несколько точек зрения, но оп-

ределяющим в этом отношении стало мнение Дж. Графа, много лет занимавшегося институциональной историей американского литературоведения.

В сборнике «Новый историзм», о котором выше уже шла речь, напечатана его статья на эту тему [57]. Дж. Граф вводит здесь специальный термин «кооптация» (*co-optation*), который употребляет в значении «ассимиляция, адаптация оппозиционных течений». Научные направления, по мнению Дж. Графа, делятся на оппозиционные и условно оппозиционные. К последним он относит те из них, которые легко могут быть адаптированы официальными институтами или создают свои легальные организации. «Новый историзм» он как раз называет направлением, которое проходит процесс институционализации по второму основанию. Чтобы объяснить феномен «нового историзма», Дж. Граф прибегает все к той же теории «ниспровержения / сдерживания». Общество осуществляет над гражданами контроль, не только ограничивая их поведение, но и предопределяя способы, прибегая к которым члены общества пытаются избавиться от сдерживающих их рамок. Таким образом, становится очевидным, что эта теория была необходима не только для того, чтобы описать культуру эпохи Тюдоров–Стюартов, но и для обозначения собственной ниши в гуманитарном научном пространстве.

В целом, нужно отметить, что рецепция «нового историзма» являлась неотъемлемым элементом его становления как самостоятельного направления, и сами представители «нового историзма» принимали активное участие в определении его специфики.

Исследование форм легитимации знания предполагает изучение других школ и направлений, а также степени их взаимодействия с изучаемым направлением. Целый ряд теоретических тенденций 50–70-х годов в той или иной степени отразился на облике «нового историзма». В каких-то случаях можно говорить о прямом влиянии, в каких-то – о сосуществовании, общих поисках и интересах. Примером первого типа взаимодействия может послужить уже упоминавшаяся «марксистская литературная теория». Примером второго – историографическая практика и историческая теория 60–80-х годов¹.

¹ Здесь мы ограничимся только этими двумя примерами. О других направлениях социального и гуманитарного знания, оказавших влияние на «новый историзм», речь пойдет во второй и третьей главах.

Говоря о марксизме, мы имеем в виду марксизм (точнее неомарксизм) как он оформился в период между Первой и Второй мировыми войнами [44, с. 322]. Как верно отмечает К. Галлахер, «в 60-х годах XX в. марксистская критика была, в основном, представлена работами западных марксистов, например Г. Лукача, а также представителями франкфуртской школы» [56, с. 39]. Марксистская критика имела большое значение для американского литературоведения. Так, в начале 70-х годов в качестве подразделения Ассоциации современных языков возникла Марксистская литературная группа (*Marxist literary group*)¹ со своим печатным органом, журналом «Медиация» (*Mediation*). Существовали и оригинальные американские мыслители-марксисты, например Ф. Джеймисон. Можно говорить также и о заметной роли марксистского направления в университетах.

Марксистская теория достаточно сильно повлияла на становление «нового историзма». В 70-е годы Гринблатт преподавал курс «Марксистская эстетика», хотя он и отзывался о нем позднее как о неудачном. Гринблатт увлекался работами В. Беньямина, Г. Лукача, а также интересовался идеями Ф. Джеймисона (*Fredric Jameson*). Именно с Ф. Джеймисоном Гринблатт полемизирует позднее в своей статье «По направлению к “новому историзму”» [63].

По мнению Б. Томаса, можно говорить о близости теоретических поисков, которые велись сторонниками «нового историзма» на кафедрах английской литературы, с процессами, происходящими на кафедрах истории [17, с. 20; 126, с. 11]. В частности, он упоминает о двух наиболее существенных направлениях исторической дисциплины того периода: «новой социальной истории» и «новой культурной истории».

«Новая социальная история» появляется в 60-е годы и сохраняет ведущие позиции до конца 70-х годов. В рамках этого направления были подняты специфические вопросы, такие как социальная мобильность населения, условия существования людей, принадлежащих к расовым меньшинствам, иммиграционные процессы, история рабочего движения, женская история, локальная история. Объединяющей для этих исследований является проблема жизни низов общества. В «новой социальной истории» предпочтение отдается изучению жизни обычных людей, тогда как истории элит уделяется меньше внимания [40].

¹ Режим доступа: <http://mlg.eserver.org/>

В 80-е годы XX в. на кафедрах истории большое влияние приобретает «новая культурная история», в рамках которой поднимаются проблемы «динамичности» процессов в истории и неоднозначной интерпретации прошлого. В результате развития этой дисциплины возникает более сложное представление о сущности «историзма» и роли историка [16]. И хотя приверженцы «нового историзма» разделяют социальный пафос «новой социальной истории» и очень близки к «новой культурной истории» в понимании «текста», в том числе «текста историка», здесь сложно говорить о прямом влиянии. В данном случае принадлежность к разным кафедрам, к разным университетским дисциплинам сыграла немаловажную роль.

Если что-то и отличало «новых историков» от историков профессиональных, так это их отношение к истории как к литературному произведению, а также нежелание видеть в исторической реальности такие привычные для любого историка причинные связи. История для «новых историков» всегда была некоторым текстом, организованным по правилам и принципам той исторической дисциплины, в рамках которой историк работает. Материал, организованный по определенному принципу, всегда можно назвать литературным произведением. Об этой концепции («текстуальности истории») еще до возникновения «нового историзма» уже писал Х. Уайт (*Hayden White*) в своей «Метаистории» (1973), где он разбирал повествовательную природу современных историй [23].

Представители «нового историзма» также не брались прямо объяснять причины возникновения тех или иных феноменов культуры. Для того чтобы обосновать возникновение определенного феномена в культуре, они создавали так называемое дискурсивное поле, опираясь на методологию М. Фуко (*Michel Foucault*). В своей книге «Рождение клиники» М. Фуко определяет «дискурсивное поле» как «установление условий возможности... опыта в том виде, в котором его знает современная эпоха» [27, с. 22]. Невозможно составить полного списка причин, повлиявших на возникновение определенного культурного явления. Однако Фуко считал, что исследователю крайне необходимо очертить некое поле, которое он понимал как ментальное пространство без четких границ. Этот основополагающий принцип теории М. Фуко был крайне существенным для представителей «нового историзма». Все это делало «новоисторическую» концепцию неприемлемой для серьезного рассмотрения в рамках исторической дисциплины.

«Новый историзм» сразу заявил о себе как направление успешное. И во многом известность авторы направления приобрели благодаря тому, что особое значение они придавали вопросу популяризации знания. Отдельно следует отметить, как много сил и энергии они затрачивали на популяризацию самого метода, который должен был ассоциироваться с именем направления. Представители «нового историзма» поняли достаточно рано, что современные условия существования гуманитарного знания таковы: исследователь вынужден не только вырабатывать адекватные знания, на нем лежит и обязанность подготовить потенциальных читателей к его успешному восприятию.

В науковедческих работах часто имеет место дискуссия, должен ли ученый ориентироваться на вкус и предпочтения широкой публики. Определенно, ученый уже не в состоянии жить в отрыве от общества, перспективность научного проекта во многом зависит от имиджа, который складывается благодаря общественным выступлениям отдельных представителей науки. Но не будет ли в связи с этим заметно опускаться сама планка научного исследования, раз совершенно очевидно, что язык публичных выступлений существенно отличается от языка науки. Ни для кого не секрет, что если ученый стремится быть понятным, то это неизбежно происходит за счет упрощения сложности научной постановки задачи. Если задаться вопросом, как именно разрешали для себя эти вопросы «новые историки», то ответ находится сам собой: сталкиваясь с подобными дилеммами, они определенно делали выбор в пользу популяризации и большей привлекательности своего научного направления у широкой публики.

Для многих привлекательность «нового историзма» была связана с тем, что это направление охватывало самый широкий спектр тем и источников, не ограничиваясь узкими рамками специализации. Литература самых разных периодов изучалась наравне с нелитературными текстами и вообще с «нелитературой», а с художественными памятниками, черновыми набросками, физическими формулами и археологическими древностями. Критики «нового историзма» зачастую ставили этот факт исследователям в упрек, утверждая, что те лишь собирают исторические анекдоты, призванные развлекать публику, но не решать научные проблемы [53]. Однако для представителей «нового историзма» научный статус их направления и заложенный в нем потенциал популяризации знания не ставились под сомнение.

Введение в научный оборот различного по содержанию и жанрам материала было методологически обосновано, поскольку новый корпус источников по определению способствовал расшатыванию привычных идеологических парадигм, сопровождавших классические тексты. Такая разносторонность заставляет некоторых авторов «нового историзма» изменить привычное исследовательское место и из архива переместиться в музеи, исторические, археологические, чтобы там найти достойный изучения предмет, который позволяет историку создавать новую картину прошлого [119].

Проблема легитимации считается решенной, когда представители нового сообщества получают общепризнанные научные степени и обретают прочное положение на специализированных кафедрах в университетах, в которых соответствующая дисциплина имеет высокий статус (в отношении английской литературы такими университетами являются, прежде всего, Йельский университет и университет Беркли). «Новые историки» смогли добиться этого к концу 80-х годов, то есть проблема институционализации была решена практически за 10 лет, в довольно сжатые сроки. Скорее всего, это произошло так быстро именно потому, что представители этого направления не были маргиналами, а лишь развивали свою дисциплину на современном уровне. Как писал Л.А. Монроз: «Мы не маргиналы, а, скорее, лица, наделенные культурной и институциональной властью» [13, с. 28].

1.2. Институциональная история «нового историзма»

В этом параграфе мы рассмотрим конкретные формы институционального оформления «нового историзма».

Подавляющее большинство научных исследований как фундаментального, так и прикладного характера в США выполняется в рамках университетов. Это касается как технических и естественных дисциплин, так и гуманитарных. Такое средоточие научных исследований в университете оказалось возможным благодаря тому, что в США существуют так называемые «исследовательские университеты», особый вид институций, в которых совмещаются наука и образование. В состав крупных университетских комплексов (Стенфордский, Гарвардский, Массачусетский университет) входят различные научные организации, которые одновременно ведут и образовательную, и исследовательскую работу.

В США существует своя Национальная академия наук (*National academy of science*), но, в отличие от Российской академии наук, она не является государственной организацией и не ведет исследовательской работы. В соответствии с Уставом Академии, утвержденным Конгрессом в 1863 г., Национальная академия наук имеет право давать рекомендации государственным органам власти (Правительству и Конгрессу США) по вопросам научно-технической политики¹. В настоящее время Национальная академия наук и другие академии США функционируют, в основном, как консультативные органы при правительственных структурах.

Кроме Национальной академии наук, в каждом штате предусмотрена своя региональная академия (всего их 50). Они не представляют собой единой организационной системы. Деятельность региональных академий координируется Ассоциацией академий наук. Только в нескольких региональных академиях проводятся научные исследования. В основном академии занимаются популяризацией достижений науки, стимулируют исследовательскую деятельность молодых ученых [25, с. 12–13].

Таким образом, основной объем собственно исследовательской работы приходится на университеты². «Новый историзм» не является исключением в этом отношении.

Поскольку дисциплина английская литература является важнейшей институциональной средой для оформления «нового историзма», рассмотрим вкратце историю институционального становления этой дисциплины.

Ключевой датой в истории дисциплины «английская литература» считается 1875 г., когда в США стали появляться первые кафедры по английскому языку и английской литературе. Вместе с ними появилась новая схема высшего гуманитарного образования, которая пришла на смену предыдущей системе, основанной на изучении классических (греческих и латинских) текстов. В 1876 г. кафедра английской литературы была открыта в Гарвардском университете. На должность руководителя этой кафедры был приглашен исследователь английских и шотландских баллад Френсис Чайлд (*Francis James Child*).

Новые кафедры (факультеты) были организованы по немецкому образцу и имели структуру исследовательских подразделе-

¹ Режим доступа: <http://www4.nationalacademies.org/nas/nashome.nsf>

² В США, когда речь идет об «академии» или же «академической среде», имеется в виду именно университет.

ний, возглавляемых профессором, кроме которого на факультете работали еще два-три преподавателя и несколько ассистентов. Каждый факультет имел собственный печатный орган для публикации результатов исследований. Приоритетной целью такого факультета являлось производство знания. И только во вторую очередь факультеты английской литературы вели образовательную деятельность [58]. По сути, это происходило само собой, благодаря участию студентов в исследовательской работе.

Кафедры английской литературы развивались очень динамично. Это развитие происходило в условиях конкуренции традиционной модели образования, основанной на усвоении готового знания, и «образования в процессе исследования». Сторонники концепции «образование в процессе исследования» утверждали, что необходимо, в первую очередь, ориентироваться на научную работу [58].

Важно помнить, что изначально преподавание словесности было тесно связано с практикой обучения письму и реализовывалось в курсах по композиции, до сих пор представленных в учебных программах университетов. Первые преподаватели композиции называли себя «генералистами» (*generalists*). К их числу принадлежали Ч.Э. Нортон, В.В. Вилсон, И. Бэббит (XIX в.). Общая позиция «генералистов» заключалась в том, чтобы приучить студентов мыслить. Преподаватели полагали, что на ученика следует влиять эмоционально, читать ему стихи, рассказывать истории, увлекать, интриговать. «Композиция» была основана на устной методике преподавания. Эта манера устного преподавания быстро исчерпала себя и негативно сказалась на отношении к самому предмету.

Серьезным препятствием для «генералистов» стало обязательное требование к преподавателям иметь ученую степень, распространенное на систему высшего образования в конце XIX в. [58, с. 87]. Поскольку преподаватели «композиции» считали, что литературу невозможно исследовать, ее можно только переживать, то сами они и оказались отстранены от преподавания литературы. Единственным среди «генералистов» исследователем, видевшим необходимость в теории, был И. Бэббит (*Irving Babbitt*), который развил свои идеи в рамках направления «новый гуманизм».

Новые идеи (немецкого университета) с трудом приживались в классических американских университетах, поэтому идея исследовательского университета потребовала создания особых инсти-

туциональных форм, новых университетов, изначально устроенных по принципу исследовательских. Так был создан университет Джонса Хопкинса, руководителем которого стал Д. Гилман (*Daniel Colt Gilman*). Именно он и привез идею «исследовательского университета» из Германии. В 1856 г. Д. Гилман опубликовал «План организации научных школ», в котором были заложены идеи новой научно-образовательной системы [58, с. 87].

В университете Джонса Хопкинса обосновалась одна из ведущих на тот момент кафедра английской литературы. Кроме университета Джонса Хопкинса, значительный вклад в развитие дисциплины был сделан такими американскими университетами, как Гарвардский, Чикагский, Йельский и Калифорнийские.

Как было сказано выше, модель исследовательского университета была заимствована из Германии. Преподавание словесности на кафедрах английской литературы в этот период опирается на принципы немецкой филологии. Так вместе с институциональной формой была заимствована и особая исследовательская дисциплина «филология». Филология как дисциплина сложилась на основе текстуального анализа, восходящего к двум традициям: изучение античных текстов в среде гуманистов и изучение Священного Писания в протестантской среде [1]. Филология основывалась на глубоком знании всех аспектов языка и дополнялась сведениями по географии, политической истории, культуре, мифологии, литературе, искусству и др. Основным предметом изучения в ней был язык, а литературные тексты выступали для филологов в роли иллюстрации языковых процессов (которые рассматривались как основание культуры).

К концу XIX в. в преподавании курсов по словесности (*English*) на место принципов немецкой филологии приходят принципы «истории литературы», осмысленной в специфическом американском контексте. Историю литературы отличает от филологии особое внимание к литературе как самостоятельному предмету изучения. С этой дисциплиной связан первый образовательный канон по литературе (формализованная учебная программа), под которым в США подразумевается набор требований, предъявляемых университетами к абитуриентам и выпускникам по данной дисциплине. Эти требования включают в себя обязательные для прочтения тексты и набор тем для обсуждения.

Впервые канон возник в США в связи с необходимостью унификации вступительной процедуры в университеты в 1892 г. На

Национальной конференции по унификации вступительных требований «Комитет десяти» утвердил образовательную программу для учащихся школ и университетов, которая была рассчитана на четыре года. В течение этого срока учащиеся должны были прочесть утвержденную Комитетом литературу и уметь анализировать ее по разработанной программе. Одним из важных направлений деятельности Комитета было закрепление списка тем, подлежащих обсуждению в средних и высших учебных заведениях. В 1894 г. Комитет пересмотрел список литературы и подготовил уже два списка: один – основной, а второй – «для углубленного изучения».

Введение канона как особого образовательного стандарта повлияло на сущность дисциплины «история литературы». С одной стороны, он способствовал повышению уровня знаний о литературе. С другой стороны, идея канона привела к консервации и стагнации развития самой дисциплины [58].

В XX в., в период между двумя войнами, чрезвычайно влиятельной в преподавании литературы становится «новая критика» (*new criticism*). Это направление интересно для нас тем, что именно оно непосредственно предшествовало «новому историзму» в рамках дисциплины «английская литература». Несмотря на то, что ко многим положениям «новой критики» «новые историки» относились скептически, а некоторые позиции прямо отвергали, именно от представителей «новой критики» они перенимают многие профессиональные площадки, такие как университет, профессиональные организации, печатные органы. В рамках «новой критики» было сформировано то критическое и научное институциональное поле, которым «новые историки» воспользовались.

«Новая критика» была первым литературоведческим направлением в США, в котором было заявлено о политической функции гуманитарного образования. «Новые критики» поставили перед собой цель – сделать чтение в США массовым явлением. Для того чтобы развернуть культурную программу, им потребовалась особая организация деятельности. Так, по всей стране начинают работу читательские клубы. При анализе литературного произведения «новые критики» ограничивались одними литературными текстами без учета исторического контекста. Они оперировали простыми и доступными для восприятия понятиями, такими как «пристальное прочтение», «структура/фактура произведения», «органическая форма» и т.д.

В конце 40-х годов XX в. такие представители «новой критики», как К. Брукс (*Cleanth Brooks*), Р.П. Уоррен (*Robert Penn Warren*), А. Тейт (*Allen John Orley Tate*), Р.П. Блекмур (*Richard Palmer Blackmur*), Дж.К. Рэнсом (*John Crowe Ransom*) начинают преподавать в университетах. Их концепция нашла свое отражение в образовательных программах таких университетов как Йельский, Мичиганский, Миннесота, Принстонский. В 1938 г. К. Бруксом и Р.П. Уорреном был написан ставший позднее значительным авторитетный учебник «Понимание поэзии» (*Understanding poetry: An anthology for college students*), за которым последовали другие важные учебные пособия «Понимание прозы» (*Understanding fiction, 1943*) и «Понимание драмы» (*Understanding drama, 1945*). Основной задачей этих учебников было сделать литературную критику широкодоступной. Эта идея была выдвинута еще Дж.К. Рэнсомом в 1931 г. в его статье «Критика: корпорация» [29]. «Новая критика» сохраняла свое влияние в качестве университетской дисциплины вплоть до конца 60-х годов XX в.

В 60-х годах XX в. английская литература распалась на ряд субдисциплин с общим названием «литературоведческие исследования» (*English literary studies*). В соответствии с основными периодами истории англоязычной литературы дисциплина была разделена на средневековую литературу, литературу XVI в., литературу XVII в., литературу XVIII в., литературу эпохи романтизма, литературу Викторианской эпохи, литературу эпохи модерна и постмодерна. В рамках двух из этих субдисциплин (литература XVI в. и XVII в.) и появился «новый историзм».

Наряду с университетом важной формой институционализации знания являются профессиональные общества и научные центры. Большую роль в формировании «нового историзма» сыграла крупнейшая профессиональная организация преподавателей английской литературы в США – Ассоциация современных языков (*Modern language association – MLA*), основанная в 1883 г. Многие представители «нового историзма» принимали активное участие в работе Ассоциации. Мы уже упоминали о степени участия в работе MLA Гринблатта. На конференциях Ассоциации регулярно выступает с докладами другой ведущий представитель «нового историзма» Дж. Голдберг¹ [65]. С 1884 г. Ассоциация издает журнал

¹ Выступления с докладами на конференциях Ассоциации современных языков в 1980 и 1982 гг.

PMLA (в настоящее время «Профешн» (*Profession*)). Оба эти журнала публиковали статьи представителей «нового историзма», а также дискуссии о новом направлении.

Другой важной площадкой «нового историзма» была Американская академия искусств и наук (*American academy of arts and sciences*). Этот институт издает собственный журнал «Дедал» (*Daedalus*), в котором были напечатаны статьи С. Гринблатта (1982), К. Галлахер (1997), К. Хесс (2002). В 2002 г. К. Галлахер была избрана членом Американской академии искусств и наук, что стало своеобразным символом признания «нового историзма» академическими структурами.

Одновременно с появлением «нового историзма» в Стенфордском университете возникает Центр гуманитарных исследований (*Stanford humanities center*), который был основан в 1980 г. и является самым первым в США исследовательским гуманитарным институтом, созданным в университете. Центр был создан с целью осуществления междисциплинарных исследований. В его работе участвуют историки, философы, литературоведы, антропологи и другие специалисты. Он поддерживает все виды исследований, проводимых на пересечении гуманитарных дисциплин, а также права, медицины, социальных исследований. Эти проекты до сих пор продолжают работать в рамках программ для преподавателей (*Faculty fellowships, Rockefeller fellowship in black performing arts*) и студентов Стенфордского и других университетов. Политика, проводимая этой организацией, была близка политике авторов «нового историзма», поэтому неудивительны установившиеся между «новыми историками» и Центром тесные связи. Членом Консультативного совета Центра гуманитарных исследований в настоящее время является К. Галлахер.

Еще одной важной формой институционализации являются периодические и серийные издания. В начале 80-х годов XX в. «новый историзм» уже вполне сложился как особое направление. Поэтому в 1982 г. представители «нового историзма» делают следующий шаг: открывают собственное периодическое издание – журнал «Репрезентейшенс». Этот журнал был учрежден в качестве преемника закрывшегося в 1981 г. журнала «Глиф» (*Glyph*). Такие исследователи, как С. Гринблатт, В.Б. Майклз, Ф. Фергюсон перешли из редакционного совета «Глифа» в «Репрезентейшенс». Несмотря на то, что ядро редакционного совета осталось прежним, идеология нового журнала была решительным образом изменена.

«Репрезентейшенс» до сих пор функционирует как издание прикладного характера, в котором практически отсутствуют теоретические публикации [126, с. 118]. Такая перемена в политике издания была прямым следствием политики самого «нового историзма».

Калифорнийское университетское издательство «Беркли» регулярно публикует не только номера журнала «Репрезентейшенс». Оно также выпускает специальную книжную серию под названием «Новый историзм», в которой как известные авторы, так и начинающие исследователи, причастные к «новому историзму», могли публиковать свои работы. Серия была открыта монографией С. Гринблатта «Шекспировские сделки» (1988). В этой серии была также опубликована знаменитая работа В.Б. Майклза «Золотой стандарт и логика натурализма: Американская литература на рубеже веков» (*Walter Michaels, The gold standart and the logic of naturalism: American literature and the turn of the century*). Кроме того, в ней издавались такие известные авторы, как Н. Армстронг (*Nancy Armstrong*), К. Галлахер, Т. Вальтер Герберт (*T. Walter-Herbert*), А. Синфилд. К концу 90-х годов было выпущено уже около 40 книг. Проект получил широкую известность.

Кроме того, С. Гринблатт является одним из составителей таких крупных учебных изданий, как «Нортон-Шекспир» 1997 г. (издательство «Нортон»), «Нортоновская антология по английской литературе» 1999 г. и ряда других антологий издательства «Нортон». В 2001 г. вышла электронная версия – «Темы нортоновской антологии онлайн».

Развитие «нового историзма» совпало с развитием информационного общества, предложившего новые возможности для представления научных направлений. «Новый историзм» оказался вовлеченным и в эту деятельность. Участникам «новоисторического» проекта удалось соединить исследовательский подход и образовательную практику в едином интернет-проекте¹.

С. Гринблатт считал, что текст будет понят лучше, если окружить его другими текстами. Для этих целей идеально подходили информационные технологии с новой системой хранения и гиперссылок. Материал «Нортон онлайн» (*Norton literature online*) на специальном сайте организован как раз таким образом. Например, внутри текста К. Марло (*Christopher Marlowe*) «Трагическая исто-

¹ Режим доступа: <http://www.wwnorton.com/literature/general-resources/writing-about-lit/page23.htm>

рия доктора Фауста» (*The tragical history of the life and death of Doctor Faustus*) можно открыть немецкий текст, на который опирался К. Марло, донос на К. Марло, обличительный трактат против магии Р. Скота (*Reginald Scot*). Все эти тексты доступны, но не являются обязательными для прочтения.

Проект «Нортон онлайн» также позволяет решить проблему соотношения старого и нового литературного канона. С. Гринблатт предлагает специальную рубрику «архив», в которой содержатся все тексты «старого» канона, а также наиболее интересные исследования, написанные о них. «Нортон онлайн» является общедоступным для пользователей ресурсом. Некоторые материалы «новые историки» систематизируют на специализированных дисках. К их числу относится «Антология Нортон».

Электронная версия «Антологии Нортон» дает возможность воплотить существенный для «нового историзма» принцип – интерактивность, который позволяет представлять культуру не только в виде набора текстов, но и в виде визуальных и звуковых файлов. Например, в одном из них С. Гринблатт читает вслух древние английские тексты, подражая англосаксонским бардам, как он их себе представляет.

Таким образом, «новый историзм» создает ряд собственных институтов, отвечающих статусу направления и современным условиям развития гуманитарного знания. Однако важно помнить, что такая развернутая институциональная база оказалась возможной только потому, что «новые историки» удачно сформулировали свои концептуальные позиции. Они успешно вписались в рамки дисциплины «литературоведение» и создали особую междисциплинарную нишу для дальнейшего развития своих идей.

Глава 2

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ «НОВОГО ИСТОРИЗМА»

В своей программной статье «Что такое история литературы?» С. Гринблатт приходит к однозначному выводу, что «литература» в концептуальном смысле – пустое понятие [64, с. 469]. В результате исследования С. Гринблатт заключает, что «литература» как термин не обозначает предмет, а характеризует определенный угол зрения, позволяющий рассматривать любое явление (*a quality of attention*). Идею «литературы» гораздо лучше выражает понятие «литературности», которое в данной статье С. Гринблатта выступает как синоним «литературы». Например, существование университетского курса «Библия как литература» еще раз подтверждает, что в понимании профессиональных литературоведов литература – это особое качество. Если в общих чертах охарактеризовать концептуальную сторону «нового историзма», то она заключается в том, чтобы рассмотреть культуру с точки зрения ее «литературности».

Концептуальные проблемы «нового историзма» прямо истекают из тех сложностей, с которыми имели дело литературоведы США в XIX–XX вв. В этой работе не предлагается рассмотреть все проблемы, стоявшие перед специалистами в области английской литературы. Напротив, необходимо было сузить круг этих вопросов таким образом, чтобы была ясна литературоведческая и культурологическая специфика методологии «нового историзма». К числу литературоведческих проблем «нового историзма» следует отнести проблему исторического контекста в изучении литературы и культуры, проблему текстуальности культуры, а также проблему соотношения иллюзии и реальности.

2.1. С точки зрения «перспективы настоящего»

Обычно специфику «нового историзма» связывают именно с проблематикой контекста, одним из важнейших вопросов литературоведения. Основная неясность заключается в том, какие сведения могут и должны быть включены в понятие «контекст», что же составляет содержание понятия «историзм»? Историзм имел различные формы в американском литературоведении. Возникшая в конце XIX в. филология опиралась на историзм, который состоял из достоверных исторических фактов [8]. После Первой мировой войны в литературоведении США происходят уже описанные выше значительные перемены. Все больше удаляется от исторического подхода «новая критика». Ради того чтобы произведение искусства не погибло в окружении исторических фактов, «новые критики» готовы были отказаться от экономического, социального и политического контекста, который, по их мнению, лишал произведение искусства его сути [29, с. 287].

В 60-е годы XX в. тенденция возврата к подлинному «историческому контексту» в литературоведении была уже слишком очевидной. На XXV сессии Института английской литературы, посвященной «Критике и биографии», была поставлена проблема «соотношения истории и критики» в современном литературоведении. Дискуссия развернулась вокруг тезиса М. Крегера – «назад к историзму». В 1967 г. ключевые доклады сессии были опубликованы в сборнике «Литературная критика и историческое понимание», где обсуждались сложности, возникшие в связи с поворотом литературоведения в сторону историзма [90]. В 70–80-е годы XX в. даже «культурная критика», не поддерживавшая идеи «историзма», возвращается «к традициям культурно-исторического подхода и апеллирует к практике социально-исторического анализа» [7, с. 201].

Идея необходимости «поворота к истории» и культуре стала настолько востребованной к 80-м годам XX в., что ее начали провозглашать представители самых различных профессиональных сообществ. В частности, о необходимости «поворота к истории» говорил председатель Ассоциации современных языков в 1986 г. в своем послании [97, с. 283].

Считается, что в проблематике контекста «новые историки» противопоставляют себя «новым критикам». На это указывает само название направления. Важно помнить, что С. Гринблатт и его сподвижники обучались в университетах как раз в тот момент, ко-

гда «новая критика» была еще довольно влиятельным литературоведческим направлением. Однако важно отметить и то, что новое поколение литературоведов возвращается к принципам историзма уже на новом витке развития дисциплины.

Представители «нового историзма» полагали, что до сих пор литературоведение строилось на противопоставлении «текста» – «контексту», «литературь» – «истории». В этом смысле, даже отрицая «контекст», «новая критика» так же опиралась на это противопоставление, как и предшествовавшие ей литературоведческие школы. Специфика же «нового историзма» заключается в снятии самого противопоставления. Как писал Л. Монроз, «новый историзм» «отвергает господствующую тенденцию ставить во главу угла некую однородную и автономную единицу – будь то Автор или Произведение, противопоставляя эту фигуру социальному или литературному фону» [13, с. 16]. Здесь под господствующей тенденцией Л. Монроз имеет в виду и «новую критику», и другие литературоведческие направления. Л. Монроз объясняет специфику «нового историзма» таким образом, будто его представители не только возвращают категорию «историзма» в литературоведческий оборот, но при этом снимают различие между литературным текстом и историческим, культурным контекстом, что и позволяет рассматривать культуру уже не как совокупность материальных памятников, а как единое текстуальное поле.

Заявление Л. Монроза о снятии противопоставления «текста» «контексту» звучит довольно эффектно. Читатель сам может оценить, насколько успешно в работах «новых историков» изживается это противопоставление. Возможно, здесь содержится лишь благое пожелание исполнить невозможное или первые шаги уже сделаны. Проанализируем небольшой отрывок из книги С. Гринблатта «Шекспировские сделки» с точки зрения упоминаемого в нем контекста. Речь здесь идет о Томасе Хэрриоте (*Thomas Harriot*), английском астрономе и математике, в конце XVI в. посетившем остров Роанок близ Северной Каролины вместе с сэром Вальтером Ралли (*Walter Raleigh*).

«Конечно, Хэрриот пишет о кори, оспе или даже обычном гриппе без всякой ненависти к аборигенам. Но концепция эпидемии придает его словам особое значение. Для англичан смерть имеет, прежде всего, моральное значение. Для англичан это упоминание о неспособности аборигенов сопротивляться болезням имеет примерно то же значение, что для нас упоминание о микро-

бах. Таким образом, уже само по себе представление “фактов” носит моральную окраску: смерть приходит только к тем, “кто оказывает нам сопротивление”, к тем индейцам, которые тайно замышляют что-то против англичан. Вместе с этой, самой себе придающей ценность циркуляцией смыслов, присутствующей в любых властных конструкциях реальности, очевидным следствием конспирации становится смерть индейцев» [62, с. 35].

Приводятся ли в этом небольшом отрывке достаточные доказательства того, что смерть действительно имела моральное значение для англичан XVI в., а упоминание о кори носило, безусловно, политический характер? И не ищет ли наш тренированный слух дополнительных сведений, подтверждающих, что это действительно было так? Как вообще возможны подобные суждения без общих знаний о том, что имело для аборигенов «примерно то же значение, что для нас», и что именно носило ту или иную окраску? В историческом исследовании избежать исторического контекста крайне сложно, но очевидно, что Л. Монроз говорит о том контексте, который был уже слишком ему знаком, слишком приторен, идеологически окрашен. В таком случае можно говорить, что «новые историки» не совсем отказываются от идеи контекста, скорее, они ищут ей подходящую замену.

Кроме проблемы «исторического контекста» перед американским литературоведением стояли другие важные проблемы, которые также были пересмотрены «новыми историками». К их числу, например, относится проблема «перспективы настоящего». Известный формалист Фрэнк Реймонд Ливис (*Frank Raymond Leavis*) выдвинул в свое время идею «перспективы настоящего» с тем чтобы, отказавшись от идеи «исторического контекста», сохранить идею контекста в литературоведческом исследовании. Ливис был далеко не единственным автором, который писал об этой проблеме. Эта тема явно касается не одного лишь литературоведения и функционирования литературного текста, но имеет более широкое значение.

В частности, ее касался Гегель в своей полемике с известным французским знатоком искусства Антуаном-Хрисостомом Кватремером де Квинси (*Antoine-Chrysostome Quatremère de Quincy*). Кватремер исходил из внутреннего желания спасти «великое искусство» от осквернения, которому оно постоянно может быть подвергнуто. Как это ни странно сегодня звучит, глубоко антикультурной Кватремер считал идею музея, полагая музей местом, в котором культурные ценности воспринимаются в отрыве от своего

естественного контекста (1806). В свою очередь Гегель в «Феноменологии духа», в явной форме отвечая Кватремеру, изящно отметил, что многие предметы переживают свой первоначальный контекст и со временем приобретают новый, «современный». Таким образом, подчеркивая уместность античных статуй в Британском музее, Гегель открыто вставал на позиции защитников идеи «современного контекста» [119].

Сама по себе тема музея возникает здесь крайне неслучайно. «Новые историки», восприняв идею «современного контекста» в том же смысле, что и Гегель, считали музей важнейшим местом для историка культуры, о чем уже вкратце было сказано выше. «Музейные исследования» имеют непосредственное отношение к идее «перспективы настоящего», о чем свидетельствует уже цитировавшаяся выше статья известного «нового историка» Р. Старна.

Возвращаясь к Ливису, следует отметить, что под «перспективой настоящего» он имел в виду методологический принцип, руководствуясь которым критик должен ощущать свою собственную позицию по отношению к изучаемому феномену, эпохе, культуре. Идея «перспективы настоящего» не была в полной мере разработана «новыми критиками», но в ней впервые было заявлено о необходимости учета сознания исследователя в исследовании. Представители «нового историзма» воспользовались этой концепцией и широко опирались на нее в своем подходе.

С точки зрения «нового историзма» фигура исследователя многопланова. На профессиональные интересы любого ученого могут повлиять другие его социальные позиции, образование, пережитый опыт, амбициозные планы, корысть и т.д. Например, свой интерес к проблематике «реалистичности иллюзий» Гринблатт считал исключительно личным, поскольку эта тема прямо отвечала его вкусам, воспитанным в процессе получения им филологического образования. Поэтому стоит ли слишком долго искать верное решение, почему одни, а не другие темы привлекают особый интерес «новых историков». В конце концов, изучаемые авторы открыто отстаивают свое право на выбор темы по интересу, а не по принципу.

Привлекательной для Гринблатта является тема значимости иллюзий, лжи, обмана, миража, реальная социальная роль мира воображаемого и политическое значение неправдоподобных аллюзий. «Шекспировская пьеса “Буря” предлагает нам модель нерешенного и нерешаемого противоречия. Остров в “Буре” является

чистой фантазией, не включенной ни в какие другие дискурсы. Он также является образом места, где сосредоточена власть, местом, в котором все индивидуальные дискурсы организованы вокруг невидимого правителя. Искусство, с одной стороны – четко ограниченная, периферийная, частная сфера: царство постижения, удовольствия и изоляции. С другой стороны – это открытая центральная, публичная сфера: царство политического порядка, возможного благодаря строгости мышления, насилию, дисциплине, беспокойству и чувству вины» [62, с. 158–159].

С. Гринблатт осознавал огромное значение вымысла в культуре. Эта личная позиция сыграла принципиальную роль в общем исследовательском подходе, что и привело к тому, что в его работах и в работах других авторов вымышленные тексты анализируются наравне с документальными, а иногда им придается еще более важное значение. С. Гринблатт особенно часто обращается к фальсификациям. В качестве примера можно привести «Приключения сэра Джона Мандевиля» (*Livre des merveilles du monde*), написанные во второй половине XIV в. Этот текст анализируется С. Гринблаттом в книге «Чудесные завоевания» [59].

События прошлого следует освещать в том свете, в котором они сегодня необходимы, потому что только такое исследование культуры имеет смысл [94]. Вот почему многие стали называть отношение «новых историков» к прошлому эстетическим. Эстетические параметры теории «нового историзма» были отмечены критиками, охарактеризовавшими проект «нового историзма» как проект «эстетизации истории» [19, с. 50].

Другие аспекты теории «новой критики» были существенно видоизменены в «новоисторическом» подходе. Предметом споров стала фигура автора произведения. «Новые критики» придавали такое большое значение тексту, что поставили текст выше автора. Литература оценивалась ими как самостоятельный феномен, который живет по своим законам. В рамках «новой критики» различные сведения об авторе признавались такой же посторонней информацией, как «исторический контекст».

Так, «новые критики» были противниками идеи «интенциональности» (авторского замысла), то есть считали вредным использовать сведения, касающиеся личности автора, его биографии и способные «раскрыть» авторский замысел и «истинный смысл произведения». По их мнению, искусство обладает ценностью и эта ценность автономна от намерений автора. Проблеме «интенцио-

нальности» в 40-е годы XX в. много внимания уделили такие «новые критики», как У.К. Уимсет и М.К. Бердсли. Вызванная ими дискуссия была посвящена значению личности автора произведения для понимания созданного им произведения искусства [135]. В работе «Интенциональная ошибка» Уимсет доказывала, что изучение интенции автора не способствует пониманию произведения. «Замысел или интенция автора не являются ни доступными, ни желательными как норма при суждениях о том, насколько удачно произведение художественной литературы» [135, с. 3].

Автор «Интенциональной ошибки» на несколько десятилетий убедила профессиональное сообщество отказаться от изучения авторского замысла. Следствием этого было выпадение из литературоведческого дискурса проблемы авторской субъективности. Литература рассматривалась в свете ее эстетического статуса, но при этом упускался из виду ее субъективный, личностный и социально-политический характер.

«Новоисторический» подход, напротив, требует изучения «интенциональных» установок автора. «Новый историзм», как мы видели, возник на волне популярности марксизма в теории литературы. Поэтому субъект «нового историзма» одновременно и неповторим, и является носителем социально-экономических и идеологических ценностей. Отношение к автору определено сформулировано в ранней работе С. Гринблатта «Формирование “я” в эпоху Ренессанса».

Вереница писателей создает тот самый актуальный в литературоведении историко-культурный фон. Каждый писатель своими книгами и своей жизнью проводит определенную линию в культуре эпохи, которая связана с другими подобными линиями. В полном согласии с гегелевским принципом филиации идей авторы литературных текстов эпохи Ренессанса принимают эстафету от предшественников, развивают новые идеи, в результате чего происходит культурный синтез.

С. Гринблатт в указанной книге укладывает жизни писателей эпохи Ренессанса в гегелевские триады, первая из которых начинается с Т. Мора. По мнению автора исследования, этот великий человек прошел свой творческий путь как путь самоотречения. Второе лицо триады – В. Тиндел, известный богослов, проживший свой век в стремлении идентифицировать себя со Словом. Третий из них – Т. Уайет, фигура синтетическая, человек, чья жизнь – восхождение к «мужественности», как ее характеризует С. Гринблатт. Эти авторы образуют гегелевскую триаду, так же как и три других

автора – Э. Спенсер, К. Марло и В. Шекспир. В данном гегелианском пассаже С. Гринблатта чувствуется влияние молодого Маркса. На более позднем этапе развития «новые историки» уже не следуют марксистско-гегелевской парадигме так непосредственно. Но идея субъекта как производной функции автора сохраняет свое значение для направления.

Изучение «субъективности» имеет особое значение в «новом историзме». И этот интерес определяется прежде всего горячей уверенностью многих представителей направления, что именно субъективная вовлеченность оживляет исторический нарратив, делает его доступным для восприятия, интересным, возможным. По сути, можно сказать, что для историка другой, неинтересной истории и не существует. «Коробки уже не располагались в первоначальном порядке, поэтому я перегруппировал их заново. Это необходимо было для того, чтобы вся коллекция удержалась в моей голове. Наконец, я вдруг увидел фотографию, которая все преобразила, – моя собственная фотография. Внезапно вся коллекция стала казаться мне знакомой, а порядок, в котором расположили ее музейные работники, – искусственным. Теперь уже это была не груда коробок, а периоды моей жизни. Моя собственная память взялась управлять имеющимися в архиве образами» [132, с. 112].

Эта случайная, на первый взгляд, цитата выражает общий взгляд «новых историков» на значение ассоциативной вовлеченности историка в историческую действительность. Важно помнить, что эта вовлеченность подразумевает не только «новоисторического» историка, а любого представителя специальности. Ведь именно любопытство движет автором «известной» истории, такого текста, который будет циркулировать в профессиональных кругах много поколений. А что такое это любопытство, как не ниточка, связывающая личность автора с историей.

Таким образом, очевидно, что «новый историзм» развивался в русле тех проблем, которые стояли перед американским литературоведением на протяжении XX в. «Новые историки» постарались взглянуть на проблему литературоведения широко, учесть весь опыт развития дисциплины. Особенно очевидна полемика «новых историков» с «новыми критиками», хотя некоторыми положениями «новой критики» «новые историки» воспользовались.

Мы рассмотрели общие проблемы взаимосвязи методологии «нового историзма» с методологией американского литературове-

дения. Теперь остановимся подробнее на некоторых более частных проблемах.

2.2. Проблема «мимесиса»

С. Гринблатт: «Влияние практики “изгнания духов” определяется не внутренними свойствами ритуала, а тем, какое впечатление практика экзорцизма оказывает на зрителей. В своей знаменитой книге “Изучение колдовства” (повлиявшей на Харснетта) Р. Скот рассмотрел некоторые приемы, рассчитанные на впечатление: хитрая игра на предрассудках, эксплуатация горя, страха, доверчивости, искусная работа с иллюзионистскими приспособлениями, созданными для сцены, соединение спектакля и комментария, внушение беспокойства и одновременные обещания избавиться от беспокойства» [62, с. 100].

Дж. Голдберг: «В “Сеяне” [Джонсона. – А.А.] Тиберий не является портретом короля Якова в том смысле, что не Яков был вдохновителем этого сюжета. При всем сходстве Джонсон написал пьесу раньше, чем Яков стал королем Англии... Реальная история догоняет историю, творимую на сцене» [65, с. 176–177].

Д. Миллер: «В этом контексте в образе мальчика [изображенного Педи. – А.А.] можно увидеть снисхождение патрона, социального покровителя (вроде мистера Гринхата у Стиля), благодаря которому мальчик становится “маленьким мужчиной”. Как мы видели в отрывке из “Tatler”, структура чувств этого мира предполагает любовь взрослого и систему вознаграждения для ребенка для симуляции его мужественности. Этот обман соблазняет его в рамках некоего культурного маскарада, внутри которого определяется его пол» [96, с. 119].

В этих трех цитатах авторы (соответственно С. Гринблатт, Дж. Голдберг и Д. Миллер) так или иначе обращаются к эффекту театральности, эффекту, способному оказать воздействие на реальность: магическое – в первом случае, политическое – во втором и воспитательное – в третьем. Тезис о «реальности иллюзий» с легкой подачи Гринблатта стал общим для «нового историзма». Этот тезис восходит к традиционной для литературоведения проблеме мимесиса. Понятие «мимесис» в переводе с древнегреческого обозначает «подобие», «воспроизведение», «подражание», в связи с литературой впервые упоминается в «Поэтике» Аристотеля, в которой автор рассматривает, в какой мере искусство может и должно подражать реальности.

В 80-е годы XX в. интерес к «Поэтике» Аристотеля заметно возрос. В 1980 г. во Франции в книжной серии «Поэтик» вышел новый перевод «Поэтики» Аристотеля с предисловием Розелины Дюпон-Рок (*R. Dupont-Roc*) и Жана Лалло (*J. Lallot*), в котором авторы представили свое понимание «мимесиса» у Аристотеля. Здесь творчество Аристотеля было понято в соответствии с традицией гуманитарных исследований во Франции с точки зрения проблемы референциальности.

Лингвистика во Франции опиралась на принципы «нарратологии», противоположные принципам референциальности. Если исходить из отечественной традиции понимания термина «нарратив», «наррация», то различие между нарратологией и референциальностью не вполне ясно. В российской филологии понятие референциальности отчасти включается в «нарратив». В книге «Теоретическая поэтика: Понятия и определения» Н.Д. Тмарченко приводит несколько определений понятий «нарратив», «наррация», «повествования», опираясь на польско-немецкую и английскую традиции [20, с. 224–226]. Приведем здесь одно из них.

«Нарратив – изложение (как продукт или процесс, объект и акт, структура и структуризация) одного или большего числа реальных или фиктивных событий, сообщаемых одним, двумя или несколькими (более или менее очевидными) рассказчиками одному, двум или нескольким (более или менее очевидным) адресатам» [108, с. 225].

Когда же мы обращаемся к работам, написанным в рамках французской филологической традиции, то различие между нарратологией и референциальностью становится очевидным. «Однако литературная теория подвергла мимесис критике, подчеркивая автономию литературы по отношению к реальности, референту, внешнему миру и отстаивая тезис о преобладании формы над содержанием [fond], выражения над содержанием [contenu], означающего над означаемым, сигнификации над репрезентацией или же семиозиса над мимесисом» [10, с. 114].

Французские структуралисты, таким образом, подчеркивали, что изучение связи литературы с реальностью – само по себе устаревшее явление в литературоведении. Вместо этого основной акцент они делали на «внереференциальности повествования», или поэтической функции литературы [31]. Во Франции изучению этой функции была посвящена отдельная дисциплина – структурная лингвистика, предложенная К. Леви-Строссом и Р. Якобсоном.

Французские теоретики противопоставляли себя Аристотелю, полагая, что они сторонники «семиозиса», тогда как Аристотель изучал литературу при помощи «мимесиса».

В отличие от французских структуралистов «новые историки» поместили теорию Аристотеля в центре своих теоретических построений. Они отметили, что в концепции Аристотеля предусмотрены необычные взаимоотношения литературы и реальности. Аристотель вовсе не считал, что литература копирует реальность (так полагали французские структуралисты). Он считал, что хорошая литература фиксирует суть вещей [2, с. 51]. Аристотель допускал, что реальные события часто требуют доработки, чтобы повествование выглядело реалистическим [2]. Кроме того, вполне реалистическим может оказаться повествование, вообще не связанное с подлинными историческими событиями. Раз литература воспроизводит порядок вещей, она сама должна выглядеть упорядоченной. Любое литературное произведение должно быть структурно организовано, иметь начало, основную часть и заключение. Аристотель не раз подчеркивал, что в литературном произведении должно быть отражено какое-то осмысленное событие, которое он определял, например, как переход от несчастья к счастьем или наоборот.

В связи с этим в «новом историзме» определения «связанный с реальностью» и «реалистически изображенный» перестают быть синонимами. Причем «реалистически изображенный» явно имеет более позитивную окраску. Таким образом, в «новом историзме» подчеркивается особая непрямая связь литературы с реальностью. Представители этого направления настаивали, что к литературе следует относиться серьезно и исследовать ее внимательно, поскольку ее функционирование в обществе может привести ко вполне реальным последствиям. Ведь при определенном подходе литература сама может быть рассмотрена как часть реальности.

Свое дальнейшее развитие проблема «реальности и иллюзии» получила в рамках теории «обмена», также интенсивно обсуждавшейся «новыми историками».

2.3. Исследование практики «обмена» в «новом историзме»

Гринблатт: «Техника текстуального анализа, которой я был обучен, была предназначена для того, чтобы идентифицировать и

прославлять непостижимые литературные авторитеты как в случае сверхъестественной гениальности автора, так и в случае сверхъестественного совершенства текста (только так и могла быть обозначена его концептуальная сторона). Настоящая методология (речь идет о собственной методологии С. Гринблатта. – *А.А.*) основана на том, чтобы зафиксировать в тексте ценную для нас потенциальную энергию для того, чтобы идентифицировать стабильный постоянный источник влияния литературного произведения. Таким образом, мы стараемся избежать случайности в нашем методе. Наш бесконечный проект терпит фиаско как раз потому, что избежать случайности в нашем анализе нам не удастся» [62, с. 3].

Здесь, в самом начале работы «Шекспировские сделки», С. Гринблатт поднимает сразу несколько проблем. Он проводит границу между собственным методом и методом более традиционным в литературоведении. Причем делает он это без особых уточнений, отсылая лишь к традиции университета, в котором он получил образование. Он также указывает, что новый метод не поддается верификации, поскольку всякий раз попытка «избежать случайности» «терпит фиаско». Наконец, из приведенной цитаты следует, что одной из полагаемых исследовательских целей является идентификация «стабильного перманентного источника влияния литературного произведения», что дает дополнительный повод критике говорить, что «новый историзм» методологически невыдержанное направление. Ведь сами «новые историки» выступают против того, чтобы конкретизировать систему влияний в отношении литературного произведения.

Таким образом, здесь открывается сразу несколько исследовательских оптик. В данном случае, мы выбираем только одну из них, а именно проблему изменения исследовательского подхода в «новом историзме». С. Гринблатт противопоставляет «прославление автора» «фиксации в тексте ценной потенциальной энергии». Очевидным образом, акцент сдвигается в сторону проблематизации ценности произведения, энергетической природы текстуального пространства.

Изучение культуры в «новом историзме» опирается на исследовательскую модель, которую сами «новые историки» обозначают как «практику обмена», или «круговорот социальной энергии». После появления первых работ Гринблатта идея «круговорота социальной энергии» стала очень популярной в США, и исследователи разных направлений активно используют ее для анализа текстов

культуры [82]. Как первый пример такого исследования можно упомянуть работу С. Гринблатта «Шекспировские сделки» (1988).

«Можно сказать, что “циркуляция социальной энергии”, имевшая место в театре, не была частью единой, тотальной системы. Скорее, ее можно охарактеризовать как дробную, фрагментарную и конфликтную. Ее элементы пересекаются, разрываются, комбинируются заново, противопоставляются. Одни социальные практики расширились благодаря сцене, другие – напротив, потеряли свое значение. Что же все-таки такое эта “социальная энергия”? Власть, харизма, сексуальное возбуждение, коллективные мечты, удивление, желание, раздражение, религиозный страх, накал страстей? В некотором смысле этот вопрос абсурден. Потому что любой социальный феномен может циркулировать в обществе, пока оно не пожелает изъять его из этой циркуляции. Ввиду этих обстоятельств я заявляю, что нет единого метода или принципа, нет “общей картины”, мы также не можем дать исчерпывающего определения “поэтике культуры”» [61, с.19].

С. Гринблатт уходит от прямого ответа, что такое «социальная энергия». Впрочем, обращение к слову «энергия» предполагает, что за этим образом могут находиться явления разного класса. Толкователи «нового историзма» (например П. Голдмен) пошли по другому пути. Они, напротив, попытались увязать термин с узким кругом проблем, поднятых в работе С. Гринблатта.

По мнению Голдмена, термин «круговорот социальной энергии», получивший сегодня широкое распространение, в рамках «нового историзма» следует понимать довольно узко. Этот термин использовался С. Гринблаттом для того, чтобы дать свою интерпретацию феномену «секуляризации». До возникновения «нового историзма» под «секуляризацией» понимали десакрализацию религиозных верований и институтов. С. Гринблатт же под «секуляризацией» подразумевает процесс перехода культурной энергии, вложенной в религиозные верования, в новые формы.

П. Голдмен подчеркивает, что для «новых историков» «границы между искусством, религией и другими культурными практиками остаются подвижными» [67, с. 2–3]. «Традиционные церемонии (панихида или практика экзорцизма) со временем могут исчезнуть, тогда как вложенная в них культурная энергия переходит в новые формы, включая искусство» [67, с. 2]. Историкку английской культуры подобная интерпретация проблемы «секуляризации» позволяет пересмотреть значение некоторых институтов

эпохи английского Ренессанса, например театра. Ведь «новые историки» именно театр описывают как особое место, внутри которого социальная энергия циркулирует особенно активно. Как мы увидим в третьей главе, идея «круговорота социальной энергии» относится не только к театру эпохи Ренессанса, но и к современному искусству, которое также содержит в себе элементы сакрального (как правило, именно поэтому искусство и производит впечатление, хотя ритуальные корни творчества бывают осознаны далеко не всегда).

Исследователи «нового историзма» верно отмечают, что подход С. Гринблатта опирается на капиталистическую модель мира, в которой все подчиняется общему круговороту капитала, отсюда и название этой модели [130]. Однако правильнее было бы сказать, что Гринблатт рассматривает в своих работах не финансовый, а культурный капитал, который основан на фундаментальных человеческих потребностях. При этом между потребностями в капиталистическом обществе и культурными потребностями человека прослеживается определенная параллель. Капитализм существует благодаря тому, что каждый человек нуждается в пище, одежде и удовольствиях. С. Гринблатт полагает, что культура существует потому, что человеку присущи некоторые глубокие психические переживания.

Существует небольшое число фундаментальных черт человеческой психики, которые не меняются, несмотря на длительную историю эволюции человека. К их числу, безусловно, относится и страх смерти. Этот страх присущ любому человеку, независимо от религии, расы и уровня развития цивилизации. Великие страхи побуждают людей создавать фантазии, в которых негативные стороны страхов могли бы быть преодолены. В фантазии люди обычно вкладывают энергию своего страха. Как раз к числу таких фантазий С. Гринблатт относит католическую идею чистилища, места, где души людей могут жить некоторое время после смерти, очищаясь от грехов. В Ирландии в связи с этим возникла легенда о святом Патрике, который обнаружил на земле вход в чистилище.

Идея чистилища является продуктом человеческого сознания, напуганного небытием и смертью. Эта фантазия, плод воображения, дитя страха быстро обретает свою материальную плоть, оживает в целом институте, поддержанном католической церковью. На месте пещеры, где святой Патрик спускался в чистилище, основывают монастырь, который вплоть до XVII в. оставался излюбленным местом

паломничества. Этот монастырь – лишь песчинка в общей доктрине очищения души после смерти, развернутой католиками. Таким образом, идея чистилища, наполненная энергией общечеловеческого страха смерти, становится реальностью.

С середины XVI в. начинается обратный процесс. Вместе с приходом протестантизма идея чистилища была официально отклонена. Однако, полагает С. Гринблатт, это означало только то, что идея приобретает новые институциональные формы. Ведь страх смерти нельзя отменить, он является для человека онтологическим. В результате политической борьбы идея чистилища уходит из области религии в область искусства. Так появляется «Гамлет» Шекспира [59].

Помимо капиталистического, в понятии «энергия» следует учитывать и физический смысл этого слова. «Эти два понятия (литература и трение. – А.А.) связаны одним общим свойством, они производят жар: благодаря жару сливаются женская и мужская половые клетки, благодаря жару мужской половой орган увеличивается, благодаря жару возможны эякуляция и оргазм. Эта “калорийная” модель сексуальности относится не только к гениталиям. Женское молоко, например, также вырабатывается только при повышенной температуре крови. Кровяные клетки восполняются благодаря энергии, которую мы получаем, съедая горячую пищу. Сексуальный жар принципиально ничем не отличается от всех других видов жара. Это лишь частный момент всей животной жизни. Поэтому сексуальное желание в определенной степени может быть вызвано едой, вином и силой воображения» [62, с. 85].

С. Гринблатт первым применил удобный термин «циркуляция социальной энергии» для описания социологических и культурных процессов в обществе, но этот подход ранее уже был известен благодаря некоторым работам Мишеля Фуко, правда, под другим названием. В работе «История безумия в классическую эпоху» Фуко определяет неразумие как неотъемлемое свойство человека, приобретающее в различные исторические периоды особые наименования (болезнь, безумие, преступление). При этом важно, что неразумие укоренилось настолько, что с переименованием оно не лишалось своей физической территории (лепрозории перестраивались в больницы для душевнобольных).

«Проказа отступает, и с ее уходом отпадает надобность в тех местах изоляции и том комплексе ритуалов, с помощью которых ее не столько старались одолеть, сколько удерживали на некоей са-

кравальной дистанции... Но есть нечто, что переживет саму проказу и сохранится в неизменности даже в те времена, когда лепрозории будут пустовать уже не первый год, – это система значений и образов, связанных с персоной прокаженного» [26, с. 27]. Таким образом, идея перехода определенной культурной энергии от одного феномена к близкому ему другому уже была предложена Фуко, значение трудов которого для «нового историзма» трудно переоценить. Книга М. Фуко вышла в свет в 1961 г. А через несколько лет, в 1965 г., появляется работа М. Бахтина «Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса», в которой совершенно автономно от европейской традиции автор сходным образом описывает значение переодеваний в карнавальной культуре. Вместе с одеждой люди перенимают и культурные модели поведения.

Существуют иллюзии и существует реальность, граница между ними не соответствует границе между литературой и историей, как было принято думать до сих пор. Реалистичность текста определяется его авторитетностью. Текст при этом может изменить свой статус, превратиться из иллюзии в реальность, и наоборот. Определить качественное состояние текста можно, оценив, насколько он насыщен «социальной энергией» в данный момент времени.

Изучение практик «обмена» позволяет, помимо прочего, более мотивированно подойти к проблеме «иллюзии» и «реальности». На основании теории Аристотеля «новые историки» могли только уравнивать друг с другом иллюзию и реальность, литературу и историю, представить огромный потенциал «реалистичности», заложенный в литературе. При помощи одной теории Аристотеля определенно нельзя было доказать, что иллюзия «является» реальностью. Новая теория «культурного обмена» открывает здесь дополнительные возможности.

2.4. Проблема канона

Одной из важнейших практических проблем американских университетов, и особенно гуманитарных отделений и факультетов, было и остается составление списков литературных произведений, которые каждый студент должен изучить и понять (проинтерпретировать) для того, чтобы успешно сдать экзамены. Этот список получил название «канона», и канон стал особой проблемой для американских литературоведов и культурологов, так как его

составление нуждалось в определенных и общепринятых критериях. Выбор таких критериев оказался делом далеко не простым, особенно в весьма сложной академической среде, в которой появились и работали «новые историки». Можно даже сказать, что проблема канона во многом инициировала появление «нового историзма».

Практика составления канонического списка текстов основана не только на противопоставлении одних текстов другим. Она опирается на идею каноничности самого литературного текста и уходит корнями в представление о литературоцентричности культуры. Изучение литературы как центрального культурного феномена не только питалось общей христианской традицией, но и культивировалось историками литературы.

С. Гринблатт предлагает считать первым человеком, заговорившим о литературоцентричности культуры, Ф. Бэкона, написавшего в 1623 г. трактат «О достоинстве и приумножении наук», в котором он утверждал, что историю литературы следует выделять из истории гражданской и истории церковной [цит. по: 64, с. 470]. В 1880 г. история литературы появляется во французских колледжах, придя на смену таким дисциплинам, как риторика и словесность [10, с. 232]. Это произошло благодаря Густаву Лансону (*Gustave Lanson*), историку литературы, развивавшему идеи позитивизма в литературоведении.

Ф. Бэкон и Г. Лансон полагали (каждый в свое время), что литературу необходимо изучать для того, чтобы история деяний человеческого духа, история культуры была полной. Для них литература была пространством, где человеческий дух сконцентрирован максимально плотно. Миф о центральном значении слова в культуре дожил до середины XX в. Сам С. Гринблатт, несмотря на то, что он уравнивал по значению литературные и нелитературные тексты, полагал, что литературные тексты являются наиболее насыщенными свидетельствами эпохи.

Литература, расположенная в центре разговора о культуре или занимающая периферийные позиции, является основной проблемой образовательного канона. В зависимости от того места, которое она занимает в дискуссиях о культуре, складывается тот или иной канонический список. В «новом историзме» была сформулирована собственная точка зрения относительно необходимости реорганизации канона, но сама по себе проблематика канона имеет небольшую предысторию.

Первый американский канон по английской литературе, созданный Комитетом десяти¹ в 1892 г., в полной мере отражал ценности культуры того времени, поэтому он был уже неактуален в конце XX в. Особенности нового канона определяются складывающейся к концу XX в. новой культурой, которая постепенно перестает быть литературоцентричной. Такие понятия, как «элитарная», «высокая» культура, опиравшиеся как раз на свойство литературоцентричности, становятся менее востребованными в исследовательской практике. Современная культура оказалась расфокусированной по субкультурам, характеризующим интересы людей различного социального положения, религиозных взглядов, национальной, расовой принадлежности и т.д. Для многих представителей этих культур классическая художественная литература не является основным культурным ориентиром. Поэтому новый канон должен строиться по другим принципам.

Как уже было сказано выше, дискуссия о «каноне» началась немного раньше появления «нового историзма», в 60-е годы XX в. Противники прежнего канона утверждали, что старый канон представляет интересы только белого мужского населения. Инициированное ими движение против традиционного канона вызвало сопротивление политической элиты. Началась целая «культурная война». В 1987 г. А. Блум пишет книгу «Конец американского разума» в защиту американского консерватизма.

Чтобы проанализировать содержательную сторону произошедших изменений, сравним некоторые списки. Мы остановимся на анализе Западного канона (*Western canon*), включающего тексты, утверждающие так называемые ценности западной цивилизации. Тем более что к Западному канону относится и литература эпохи английского Ренессанса. Наиболее полный список авторов эпохи Ренессанса был предложен Хэрлдом Блумом (*Harold Bloom*), поэтому мы обратимся к нему как к образцу традиционного канона.

Х. Блум создал свой особый канон («Западный канон», 1994) с целью закрепить идею канона как раз в тот момент, когда стало очевидным, что старый канон скоро будет утерян. Он хорошо понимал, что идея канонической литературы уходит в прошлое. По его мнению, канон оказался разрушенным вследствие вторжения

¹ Комитет десяти – официальная государственная комиссия, созданная для составления канона по литературе.

на кафедры английской литературы «культурных исследований» [39]. Поэтому его список содержит в себе имена «наиболее значимых» авторов и «лучшие» произведения.

В качестве современного списка воспользуемся материалами книги Марион Вайн-Девис (*Marion Wynne-Davies*) [137], которая, с нашей точки зрения, довольно полно отражает основные тенденции развития современного канона.

В таблице в первой колонке приводится список авторов, предложенных Х. Блумом, но не учтенных в современном каноне, то есть в ней представлены имена тех писателей, которые были вытеснены из современных списков новыми именами. Вторая колонка включает имена авторов, которые присутствуют в обоих списках. Третья колонка содержит в себе имена тех, кто занял свое место в каноне в течение последних десятилетий.

Как видно из таблицы, произошедшие изменения оказались довольно значительными. Список изменился больше чем наполовину. Список Х. Блума был самым полным по эпохе Ренессанса, но новый список охватил еще более широкий пласт имен. При этом большая часть первоначального списка была сохранена.

Изменения в каноне очевидным образом связаны с изменением значения такого понятия, как «автор». Авторами становятся уже не только писатели и поэты, но и путешественники (Х. Колумб, Ф. Дрейк), учителя (Р. Аскем, Дж. Патнем), переводчики (А. Голдинг, Д. Роланд, Т. Норт), а также начинающие писатели, представляющие различные субкультуры, женщины-писательницы (А. Брэдстрит, М. Сидни, М. Рот, М. Кавендиш). Литературный статус получают известные философско-политические трактаты (например, Т. Мора, Н. Макиавелли), а также трактаты крупных политических деятелей (Елизаветы I, Якова I). В конце XX в. категория «текста» существенно расширилась. В нее стали попадать случайные записи, исторические заметки, научные исследования – практически все, что раньше могло считаться лишь «контекстом».

Какова же специфика именно «новоисторического» канона? Очевидно, что канон «нового историзма» претерпел существенные изменения. Однако если сравнить канон «нового историзма» с канонами других, более радикальных литературоведческих направлений, посвященных изучению женской литературы, литературы угнетаемых народов, следует признать, что изменения, привнесенные представителями «нового историзма», были ничтожны.

Канонические списки по литературе английского Ренессанса¹

Авторы из списка Х. Блума, не вошедшие в список М. Вайн-Девис	Авторы из списка Х. Блума, вошедшие в список М. Вайн-Девис	Авторы, впервые во- шедшие в литературный канон после 70-х годов XX в.
Greville F. Kyd Th. Daniel S. Campion Th. Tourneur C. Beaumont F. Massinger Ph. Hobbes Th. Carew.Th. Crashaw R. Butler S. Taylor J. Lovelace R. Vaughan H. Aubrey J. Dryden J. Locke J. Etherege Sir G. Traherne Th. Behn A. Wycherley W. Rochester J.W. Earl Otway Th.	Wyatt Sir Th. Surrey H. H. Earl Spenser E. Sidney Sir Ph. Raleigh Sir W. Marlowe Ch. Nashe Th. Chapman G. Bacon F. Drayton M. Shakespeare W. Donne J. Jonson B. Marston J. Burton R. Webster J. Middleton Th. Rowley W. Ford J. Herrick R. Herbert G. Walton I. Browne Sir Th. Milton J. Marvell A. Bunyan J. Pepys S.	Machiavelli More Th. Columbus Elizabeth I Sidney M. Fox J. Painter W. Fenton G. Ascham R. Pettie G. Hall J. Lyly J. Drake F. Puttenham G. Harington J. Davies J. James I Heywood Th. Gates Th. Bradstreet A. Drummond W. Swetnam J. Wroth M. Cavendish M. Cavendish J. and E. Cleveland J. Devenant W.

Профессор Стивенс отмечает внимание С. Гринблатта к традиционной канонической литературе: «Он вовсе не критиковал ли-

¹ Уточнить список рекомендуемых для прочтения Х. Блумом авторов можно на сайте: <http://www.interleaves.org/~rteeter/grttabl2.html>

тературу, написанную белыми европейцами, он ее читал, любил и интерпретировал» [121]. В своей докторской диссертации С. Гринблатт исследовал биографию известного автора эпохи Ренессанса сэра В. Ралли. Хотя следует отметить, что его подход к этой биографии был нетрадиционным, само внимание к этой персоне выдает в Гринблатте истинного ценителя культуры Ренессанса.

Некоторые исследователи «нового историзма» переосмыслили религиозную поэзию Мильтона, которая вообще-то не была популярна в конце XX в., так как изучение религиозной, морализаторской литературы стало уходить на второй план. Милтон многими составителями современного канона был вообще исключен из списков. Это не было случайностью. Ведь Милтон придерживался патриархальных взглядов, о чем часто напоминают современные феминистки. Незаслуженно под сомнение был поставлен профессионализм Мильтона. Поэтому возникла целая плеяда исследователей, посвятивших себя восстановлению репутации этого великого поэта. К ним относятся Дж. Рамрик, Р. Шварц, Дж. Тернер, С. Фиш, Х. Нилл.

Понятие «религиозности» для «нового историзма» сохранило свою актуальность, но в другом качестве, как важный социальный фактор раннего Нового времени, участвующий, по словам С. Гринблатта, в общей «циркуляции культурной энергии», но внимание к Милтону в среде «новых историков» было, скорее, эпизодическим, чем постоянным. Напротив, особенно заметным был интерес к Шекспиру, который обусловился самой личностью драматурга, воспринимавшейся исследователями как символ профессионального успеха. Шекспир был одаренным и плодовитым автором, немного небрежным, весьма востребованным современниками. Он оказался идеальной фигурой для подражания. Хотя он был английским автором XVII в., по своей удачливости он для Гринблатта был воплощением американской мечты, сочетанием таланта и деловитости.

В «новом историзме», безусловно, была выработана своя культурная политика в отношении выбора текстов. Преподаватели стремились прийти к компромиссному решению, чтобы сохранить значительную часть канона, обновив его небольшим количеством новых имен. «Вполне допустимо исключить из списка пару поэтов XVI–XVII вв. ради того, чтобы включить в него писателей неевропейского происхождения. Чтобы учить, нужно находиться на одной почве со своими студентами», – высказывает свою точку зре-

ния С. Гринблатт [цит. по: 121]. Но важно помнить, что как исследователь Гринблатт продолжает открывать и малоизвестных поэтов, в текстах которых, по его мнению, скрываются так называемые «еще неотработанные» культурой смыслы. Одним из таких поэтов эпохи Ренессанса стал для С. Гринблатта Сэмюэль Деннис.

Поскольку «новые историки» одновременно старались и сохранить в каноне имена классических авторов, и дополнить его новыми именами, они оказывались перед неизбежной проблемой выбора и должны были руководствоваться определенными принципами в составлении списка. Задача была не самая простая. Определенно, им хотелось отказаться от принципа элитарности, вкуса, эстетизма и больше ориентироваться на принципы социального равенства. При этом очевидна преференция авторов в сторону человека, помимо низкого происхождения обладающего социальной активностью и готовностью к переделке мира. Именно эти люди, в первую очередь, приводят в движение культурную жизнь. К. Галлахер ссылается на образ литературного героя Феликса Холта из новеллы «Феликс Холт, радикал» Джордж Элиот (*George Eliot, Felix Holt the radical*), известного своей социально-политической активностью [55].

Успешным (и соответственно, требующим изучения) с точки зрения «нового историзма» является тот герой или автор, которому удастся, не нарушая основных законов своей страны, существенно улучшить материальное положение и подняться по социальной лестнице. Таким образом, признавая незыблемость социального устройства, представители направления крайне позитивно оценивают любые возможности интеллектуального и социального роста. Соответственно для такого роста можно создавать более или менее благоприятные условия. Страны, в которых способности талантливого человека поощряются, считаются более успешными и перспективными. С. Макферсон, преподавательница английской литературы в Чикагском университете, исследует основные законы о частной собственности в Великобритании, способствующие такому росту, на примере романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение» (*Jane Austen, Pride and prejudice*) [93].

В Англии начала XIX в. положение в обществе во многом определялось теми или иными формами землевладения. Основными из них были «свободное землепользование» и «пользование с ограничениями». Закон должен был защитить крупные состояния от растраты нерадивыми или чересчур многочисленными наследниками. Например, владея землей «с ограничениями», собственник

не мог эту землю продать, заложить или поделить между своими детьми. Таким образом, закон (кратко поименованный «майоратом») охранял права первоначального сюзерена, а также создавал конкурентные условия между будущими наследниками. Условия английского законодательства были таковы, что родиться наследником было недостаточно, необходимо было еще стать успешным человеком.

Рассматривая героев романа «Гордость и предубеждение» с этой точки зрения, Макферсон делит всех действующих лиц на две основные категории: свободные землевладельцы и владельцы, распоряжающиеся землей с ограничениями. Только один персонаж романа мог распоряжаться своим имуществом свободно – это г-н Дарси. Г-н Беннет, г-н Лукас также владели своими именьями, но не могли ими распорядиться. Наследницы г-на Беннета имели на фамильную землю еще меньше прав, потому что были женщинами. Именно арендатором, а не владельцем Незерфилда собирался стать г-н Бингли, который был достаточно богат, чтобы выкупить имение, но пока этого не делал. Что же касается мистера Лукаса, то его имение только «называлось “обителью Лукасов”», по остроумному замечанию самой Д. Остин. На самом деле глава семейства имел на свою землю такие же права, что и мистер Беннет [93].

Имущественное положение напрямую связано с внутренней культурой человека, оказывает существенное влияние на его представления. Макферсон усматривает в романе несколько таких поведенческих принципов, разводящих по разные стороны Элизабет и Дарси, Дарси и Уикэма, Бингли и Дарси. Одним из принципов является формализм, который для всего семейства Беннетов является крайне негативным явлением. Миссис Беннет считает, что в результате глупого формализма ее дочери и сама она будут лишены дома после смерти ее мужа. Ее дочь Джейн во всем стремится не доверять формальным суждениям, чтобы не очернять людей напрасно. Ее вторая дочь Элизабет тоже не слишком доверяет формальным правилам и догмам. Уикэму, несмотря на его очевидную неправоту, удастся всех запутать как раз потому, что он упирает на недостатки правового формализма. Отец Дарси пообещал ему, Уикэму, приход, но пообещал «неформально». Одно это замечание сразу сближает Уикэма со всеми сестрами Беннет, поскольку они тоже страдают от «формализма». Напротив, излишней формалисткой является леди Кэтрин, и это, очевидно, всем неприятно [93].

Другим бихевиористским маркером принадлежности к тому или иному кругу является манера вести дела быстро или медленно. Поспешность в делах, очевидно, является позитивным качеством с точки зрения семьи Беннетов и негативным с точки зрения Дарси. Поспешность желательна и в любовных делах, поэтому стремительное развитие романа между Джейн и Бингли радует всех в доме Беннетов, но огорчает медлительного во всем Дарси.

Помимо того, что собственность влияет на мышление человека, она отражается и на его манере поведения. Роман дает этому множество ярких примеров. Мистер Бингли достаточно богат, чтобы купить имение Незерфилд, но не торопится этого делать. Пока он лишь снимает его, и неясно, собирается ли он в нем жить. Характер его прямо соответствует тем формам собственности, которые он предпочитает, то есть временным формам землевладения. Он весел, поспешен, поддается влиянию друзей. И в отношениях с землей, и в отношениях с другими людьми краткосрочные взаимоотношения он предпочитает длительным [93].

Сэр Вильям Лукас также арендует имение, недалеко от Меритона, в котором он когда-то занимался торговлей и числился мэром. Между формой землевладения и чертами характера Лукаса имеется вполне определенная связь. Он любезен по отношению ко всему миру, внимателен к каждому, безвреден, дружелюбен и обходителен. Его открытость свидетельствует, что места, к которому он был бы привязан юридически, не существует. Противоположностью В. Лукаса является Дарси, который одновременно является и свободным владельцем своих земель, и обладателем отвратительного характера.

Дарси презирает окружающих, но при этом он относится к разным людям неодинаково. Его имущественное положение позволяет ему различать людей, достойных его внимания, и тех, с кем не стоит и заговаривать. Госпоже Лонг на балу в Меритоне совсем не повезло. Дарси просидел с ней рядом полчаса и ни разу рта не раскрыл, отчего весь меритонский свет сразу признал, что Дарси необщителен и нелюбезен. Однако мог ли Дарси поступить иначе, если он действительно прознал, что у госпожи Лонг нет экипажа, и она прибыла на бал в наемной карете. Госпожа Лонг «арендует», поэтому Дарси не может и не должен снисходить до нее [93].

Поскольку имущественные отношения определяют социальный культурный код поведения героев, они же лежат в основе наиболее значительных комических сцен романа. Очевидно, что поте-

шаться в романе нужно над мистером Коллинзом, поскольку автор книги прямо предлагает нам его считать неприятным человеком. О нем сказано довольно ясно, что умом он не отличался. Несмотря на то, что его ответы порой выдают в нем человека неординарного и способного к развитию (например, он развлекает себя сочинением изящных комплиментов, стремится к непринужденности), всеобщий вердикт неумолим – мистер Коллинз неисправимо глуп.

Мистер Коллинз действительно порой ведет себя неадекватно, и, прежде всего, это касается его собственнических амбиций. Имея вполне законные притязания на имение Лонгборн, Коллинз несколько неверно представляет себе, в какой форме ему предстоит владеть этой землей. Его непонимание выражено в первую очередь в стилистике его поведения. Элизабет первая обращает внимание на нарочитую виноватость мистера Коллинза, не имеющую под собой весомого основания. Полагая себя за все тысячу раз виноватым, он ведет себя как представитель высшего света, который действительно несет ответственность за других людей – своих подданных. Но ведь мистер Коллинз получит Лонгборн по майорату, и вынужден будет передать имение далее, подчиняясь тому же самому майорату, не являясь абсолютным собственником [93].

Таким образом, частная собственность, по мнению Макферсон, будучи основой поведения людей, влияет на мышление и определяет будущий стиль общения. Но не стоит забывать, и в романе это является ключевым моментом, что люди способные, одаренные и нетривиальные имеют возможность приобрести больше, чем им положено по закону, если сумеют найти способ преодолеть социальные границы. В романе рассматривается один из этих случаев – удачное замужество. Причем обычно считается, что, по замыслу автора, удачно вышли замуж Джейн и Элизабет, тогда как, по мнению Макферсон, по-настоящему «приобрели» Элизабет и Лидия.

Кто бы в данном случае ни оказался в выигрышном положении, нас по-прежнему будет интересовать лишь тот факт, что активный творческий субъект был и остается предпочтительным героем для авторов «нового историзма». Причины этому можно назвать вполне очевидные. Ведь именно такой герой будет соответствовать самой аналитической стилистике направления, представителям которого крайне важно было занять видные исследовательские позиции.

Возвращаясь к проблематике «канона», отметим в заключение, что сегодня целый ряд американских университетов работает

над созданием канонических списков по литературе (к ним относятся Гутенбергский колледж (Орегон), университет Мерсера (Атланта), колледж св. Джона (Аннаполис), Шимер-колледж и колледж Фомы Аквинского (Калифорния)). При этом очевидно, что идея канона утратила свою первоначальную значимость и сакральность. Современная тенденция заключается в том, что канон постоянно включает в себя новые имена и в него возвращаются имена уже известные, но прежде не привлекавшие внимание. Развитие канона нередко происходит в ущерб классическим текстам, при этом все большая роль в выборе текстов принадлежит самому учащемуся.

Глава 3

ОТ ИЗУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ К ИССЛЕДОВАНИЯМ КУЛЬТУРЫ

Считая литературу системообразующим началом культуры, «новые историки» от чисто литературоведческих исследований постепенно начали переходить к изучению культуры как основному исследовательскому объекту. Поэтому с точки зрения науковедческого анализа особенно интересно посмотреть, как осуществляется междисциплинарное взаимодействие литературоведения и культурологии и каким образом пересекаются прежде изолированные дисциплинарные подходы.

3.1. Культурологический подход в литературоведении

Довольно длительное время, вплоть до 20-х годов XX в., понятие культуры было не в чести в английских и американских университетах. Английский историк, публицист Фредерик Харрисон (*Frederic Harrison, 1831–1923*) в своих публикациях оценивал знание о культуре как малоприемлемое, пригодное лишь при анализе современной литературы, которая в то время казалась университетским профессорам такой же несерьезной, как и культура. Все дискуссии о культуре и о современной литературе были «сосланы» на страницы популярных журналов [58, с. 122].

Иную позицию в отношении культуры представлял известный английский литературный критик Мэтью Арнольд (*Matthew Arnold, 1822–1888*) в своей книге «Культура и анархия» (1869). По его мнению, демократия в здоровом, экономически и политически благополучном обществе не выживет, если она не будет опираться на принципы культуры. Именно М. Арнольд впервые связывает два понятия: «культура» и «демократическое общество». Именно он

становится инициатором создания в институтах высшего образования специальной дисциплины, которая могла бы изучать вопросы культуры. Идеи М. Арнольда были претворены в жизнь в США несколько позже, уже после Первой мировой войны. Притом что культуре отводилась важная роль в концепции Арнольда, сама культура понималась им как элитарная.

В 20-е годы XX в. в США активно обсуждался вопрос о всеобщем образовании, целью которого было, прежде всего, приобщение большинства населения США к общим духовным ценностям. Обращение к понятию «культура» сыграло в этом процессе немалую роль. Инициаторами концепции всеобщего образования стали «новые критики», которые отразили свое понимание проблемы в известном документе «Harvard Redbook» (1945). Этот же документ имеет и более полное название «Всеобщее образование в свободном обществе». Авторами проекта стали Р.М. Хатчинсон и А.А. Ричардс (*I.A. Richards*).

В документе развивалась идея Великих литературных произведений, в которых сохранялась всеобщая культурная традиция. Эту традицию авторы также понимали как разговор великих мыслителей на универсальные темы. Выражение «Великий разговор» было введено в научный оборот преподавателем Колумбийского университета Джоном Эрскином. Несмотря на то что идея «всеобщей культурной традиции» предполагала универсальные культурные ценности, эффект проекта Р. Хатчинсона и А. Ричардса носил социальный характер, поскольку проект был призван обеспечить всеобщее образование в США.

В конце XX в. общественные дискуссии о культуре ведутся в контексте мультикультурализма. Исследователи на этом этапе поддерживают развитие разнообразных этнических культур США, а также различных субкультур. Основные социальные функции исследований культуры в США, критика социальных основ общества были значимы для формирования «нового историзма».

* * *

Многие методологические установки «новых историков» оказываются близки исследовательским принципам приверженцев «культурных исследований» (*cultural studies*). «Культурные исследования» – исследовательское направление, зародившееся в Великобритании в 50-е годы XX в., которое также возникло в рамках

дисциплины «литературоведение», однако очень скоро приобрело междисциплинарный характер. К началу 80-х годов британские «культурные исследования» распространяются и в других англоязычных странах, в том числе США. Основанием для сближения «нового историзма» и «культурных исследований» в США послужил общий интерес к культуре, а также определенное влияние марксизма [129; 22]. В «культурных исследованиях», однако, основным объектом изучения является культура XX в., тогда как «новый историзм» работает с более ранними историческими эпохами, в первую очередь с английским Ренессансом.

В Великобритании близким по отношению к «новому историзму» направлением остается «культурный материализм». Работа Р. Уильямса задала тон будущим исследованиям внутри этой дисциплины, укрепив представление о культуре как о поле социальной борьбы [133]. Р. Уильямс писал, в основном, об английской культуре XIX–XX вв. Его работы нашли отражение в трудах представителей «нового историзма», которые в том же ключе рассматривали английскую культуру XVI–XVII вв.

Для «нового историзма» важным в понимании культуры был также опыт культурной антропологии, в частности исследовательский опыт Клиффорда Гирца (*Clifford James Geertz*). С науковедческой точки зрения здесь следует отметить не только междисциплинарность, а факт взаимного влияния, взаимного проникновения и отчасти слияния близких по содержанию, но все же отличающихся друг от друга направлений гуманитарных исследований.

Как показывает подробное исследование Ричарда Хальперна, взаимопроникновение антропологии и литературоведения началось еще во второй половине XIX в. [73] Еще в 1864 г. антрополог В. Джексон (*W.J. Jackson*) [цит. по: 73] предложил подвести под литературную биографию «научное основание». С его точки зрения, биография приобретет научный вид, если создавать ее с опорой на френологию, которая в тот период считалась научной дисциплиной. В 1864 г. Джексон в статье «Этнология и френология в помощь биографу» предложил проанализировать генотип Шекспира, с тем чтобы объяснить, наконец, его популярность и широкое культурное влияние его творчества.

Джексон был не единственным автором, распространявшим подобные идеи. Применить расистскую теорию с целью объяснить гений Шекспира пытался и другой не менее известный автор XIX в. Шотландец Томас Карлиль (*Thomas Carlyle*) выдвигал на

первый план тевтонское происхождение Шекспира, чем, в свою очередь, вызвал критическую реакцию Мэтью Арнольда, горячего противника «тевтомании».

Антропология и литературоведение в течение XX в. развивались параллельно, ветвясь то в сторону гипотезы культурного универсализма, позволившей, например, Фрэзеру проводить сравнительный анализ мифологии и обрядов, то в противоположном направлении контекстуального анализа обособленных культурных целостностей. В качестве примера последнего Хальперн приводит опыт антропологического исследования Малиновского [73]. «Новый историзм» оказывается направлением, которое также активно сближается с антропологическими исследованиями.

Как для Гирца, так и для «нового историзма» существенной была проблема, как провести различие между исследовательским сознанием и сознанием человека, принадлежащего изучаемой культуре. Вот как в связи с этим Дж. Голдберг описывает трансформацию в истории понятия «частная жизнь»: «Сегодня общественное и личное, приватное функционируют преимущественно как противоположные категории, и, как говорил один политолог и социолог (Р. Сенетт. – *А.А.*), мы все время стараемся ослабить общественное и развить частное. Все индивидуальное для нас ценно. Отсылки к частному, к внутренним различиям, создающим индивидуальность, лежат в основе современных измерений человека. Значение индивидуальности для современности отразилось на нашем понимании Ренессанса, начиная с Я. Буркхардта. Однако что же, в самом деле, означает противопоставление частного публичному применительно к этому времени. Когда Яков провозглашает себя публичным человеком на публичной сцене, какая категория становится противоположной публичности? Что означало понятие “частная жизнь” в эту эпоху?» [65, с. 148].

Ссылаясь на Я. Буркхардта (*Jacob Christoph Burckhardt*), Дж. Голдберг отмечает здесь те элементы культурного сознания современного человека, на которые мы непроизвольно опираемся в изучении культуры. В данном случае для автора актуально противопоставление «публичного» «частному». Это противопоставление, как видно из цитаты, понятно нам, но оно не свойственно людям, жившим в XVI в. Насколько полно этот парадокс обычно учитывается исследователями?

Такую установку, весьма характерную для «нового историзма», использует и С. Гринблатт в своей работе «Шекспировские

делки»: «Мой тезис заключается в том, что в “Двенадцатой ночи” автор не возвращает нас к привычному фундаментальному различию между мужчиной и женщиной. Дело даже не только в том, что это различие немного размывается. Дело в том, что мы вообще здесь не видим знакомой, привычной нам системы отношений» [62, с. 72].

Исследования культуры, таким образом, с самого начала возникли в образовательной практике США как спорная территория. В этом отношении авторы «нового историзма» всецело принадлежат традиции культурных исследований в США. Культурные исследования для «новых историков» были не обычным академическим занятием, а социальным поступком, решительным шагом, действием. Это действие, хотя и не представлявшее большой опасности, вызвало своего рода противодействие, которое также вылилось в особый культурный проект, который функционировал как проект власти. В прессе была развернута кампания, направленная на критику «нового историзма», «феминизма» и других подобных радикальных культурных направлений. Расхождения между «новыми историками», их коллегами и властью привели к культурному конфликту, в результате чего «новый историзм» был отнесен к ряду «антикультурных» направлений, препятствующих развитию цивилизации и ведущих к варварству. В качестве аргумента в свою пользу «новые историки» утверждали, что куда опаснее умалчивать о реальных социальных процессах и социальных разломах. Они также писали об исчезновении подлинно исторического мышления даже в среде профессиональных историков и считали этот симптом крайне неблагоприятным [13, с. 24].

* * *

Представители «нового историзма» изучали культуру в местах ее наибольших разломов для того, чтобы понять, под воздействием каких сил она складывалась. Они исходили из того, что канонические тексты являются результатом борьбы некоторых политических сил, определить которые не составляет труда. Так, обращаясь к Шекспиру, С. Гринблатт представляет себе его творчество основанным на характерной для того времени борьбе католиков и протестантов. Для нас в данном случае важно не только зафиксировать сам по себе фактор борьбы, лежащий в основе исследований культуры. Этот момент представляется слишком очевидным в «новом историзме». Нам было бы интересно также опре-

делить, на каком поле разворачивается эта борьба, как можно было бы его описывать.

Для С. Гринблатта это поле является, в первую очередь, языковым. Хотя борьба протестантов с католиками разворачивалась в двойном пространстве: визуальных образов и языка, именно языковые процессы оказывались наиболее влиятельными, тогда как визуальные образы разрушались с наибольшей легкостью.

«Протестанты старались остановить работу воображения, касающуюся чистилища. Они надеялись освободить людей, разрывая метафору на части. Они старались представить чистилище именно как фэбулу, построенную на соединении страха и надежды. Проще всего было разрушить визуальные образы: разорвать книги, разбить алтари и скульптуры. Труднее было разрушить влиятельный нарратив, потому что именно из него, в основном, состояла идея чистилища» [59, с. 61]. Именно так внутри общей культурологической дискуссии проявляется себя филологическая основа направления.

3.2. Исследование «маргинального» в «новом историзме»

В этом параграфе мы опираемся на исследования не только ведущих авторов направления, таких как С. Гринблатт, Л. Монроз и К. Галлахер, но и менее известных. Для того чтобы наиболее полно представить проблематику и подходы «нового историзма», в главе широко используются публикации журнала «Репрезентейшенс». Особое внимание уделяется членам редакционного совета издания (Т. Кларк, М. Роджин, Т. Лакер, А. Вагнер). Кроме того, проанализированы некоторые статьи постоянных авторов журнала (Д. Миллер, К. Армстронг).

Майкл Роджин начал преподавать в Калифорнийском университете Беркли на факультете политических наук с самого начала своей исследовательской карьеры. За 30 лет работы он написал множество книг об американской политике и культуре. В сфере его интересов были такие темы, как кинематограф, расизм, феминизм, марксизм. Наибольшую известность получила его работа о президенте Рейгане как актере и политике «Рональд Рейган. Кино и другие эпизоды политической демонологии» (*Ronald Reagan. The movie and other episodes in political demonology, 1987*). Работая в Беркли, М. Роджин активно сотрудничал с Гринблаттом и участвовал в реализации «новоисторического» проекта. Вместе с истори-

ком искусства Т. Кларком М. Роджин входил в редакционный совет журнала «Репрезентейшенс». В 2001 г. профессор М. Роджин скончался.

Тимоти Кларк, историк современного искусства, профессор, также преподает в Беркли и входит в состав редакционного совета «Репрезентейшенс». Он специализируется на изучении политики и искусства во Франции XIX в. Одна из его работ называется «Изображение эпохи модерна в живописи: Париж в искусстве Мане и его последователей» (*The painting of modern life: Paris in the art of Manet and his followers, 1984*).

Томас Лакер – ведущий автор «Репрезентейшенс», публикующийся в журнале с момента его основания, занимается европейской культурной историей. Основные интересы – история тела и сексуальности. Как и Гринблатт, изучает проблему смерти с точки зрения исследователя культуры. Автор монографии «История сексуальности: Тело и гендер от греков до Фрейда» (*Making sex: Body and gender from Greek to Freud, 1990*). Изучением тела на границе между медициной и культурой также занимались такие авторы «Репрезентейшенс», как Л. Вилсон и Дж. Дойль.

Ближайшим коллегой Т. Кларка является Анна Вагнер. Она также работает на кафедре современного искусства в университете Беркли, входит в редакционный совет журнала «Репрезентейшенс». Профессионально занимается проблемами современной скульптуры. Особенно интересуется искусством Великобритании. Одно из своих исследований А. Вагнер посвятила творчеству Э. Уорхола. Помимо этого она является крупным специалистом по скульптурам Г. Мура.

Кроме того, что в создании «Репрезентейшенс» активно участвуют преподаватели университета Беркли, в журнале публикуются и преподаватели других университетов и колледжей в том случае, если тематика проводимых исследований близка политике издания. В этом смысле интересна фигура Филиппа Коннелла, преподавателя английской литературы в Колледже св. Джона (Кембридж). Ф. Коннелл изучает английскую литературу начала XIX в. с точки зрения английской политической экономии.

Интересную исследовательскую пару составляют Д. Миллер и К. Армстронг. Они изучают такую специальную проблему «нового историзма», как «пол зрителя». Предлагаемому ими подходу уделяется внимание в четвертом параграфе главы. Кроме того, вместе с Т. Лакером Д. Миллера занимала проблема сексуальности в

культуре. В специальном выпуске «Репрезентейшенс» за 1986 г. он предложил исследование чувственности в романе У. Коллинза «Женщина в белом».

* * *

Представители «нового историзма» понимали маргинальность в значении редкого, недоступного большинству. Пожалуй, им не нужно было связывать маргинальные явления с культурой бунтующего сознания (что было особенно характерно для французского мыслителя М. Фуко).

По сути, в «новом историзме» маргинальность является характеристикой определенного этапа в становлении культуры, а не качественной определенностью индивида. Кроме того, отдельная культура или поведение индивида нередко становятся маргинальными в результате того, что они будут особым образом проинтерпретированы последующими поколениями историков. Точно так же работа историков может быть нацелена и на обратный эффект, некоторые маргинальные явления со временем приобретают статус канонических, становятся классикой. Это касается как отдельных литературных текстов, так и исторических персонажей, некоторых явлений и феноменов. Такие фигуры, как Томас Мор, Вильям Шекспир, безусловно, являются для нас каноническими. Задача же Гринблатта заключается в том, чтобы представить их как маргиналов, ставших впоследствии примерами для подражания лишь благодаря последующей работе историков и интерпретаторов.

С. Гринблатт в работе «Формирование “я” в эпоху Ренессанса» изображает своих персонажей (Мора, Тиндела, Уайета, Марло, Спенсера и Шекспира) как людей неуверенных, подверженных различным страхам, уязвимых. В этом, по мнению Гринблатта, обнаруживается несовпадение наших представлений об этих людях с их действительным психологическим, моральным и т.д. состоянием.

Примером еще одного «несовпадения» в европейском обществе XVI–XVII вв. для Гринблатта является вопрос о гермафродитах. В «Шекспировских сделках» Гринблатт пытается выяснить, что думали о гермафродитах люди, принадлежащие разным социальным, профессиональным и политическим группам. Этот вопрос понимался в эпоху Ренессанса не так, как он понимается нами. Более того, некоторые видные культурные деятели XVII в. не имели на него единого взгляда. И немногими этот факт был замечен [62, с. 72–73].

Как так получилось, что такие значимые каждый в своей области авторы, как В. Шекспир и М. Монтень, выражают свое отношение к гермафродитам по-разному. Идея двуполого существа кажется Монтеню противоестественной, тогда как в «Двенадцатой ночи» Шекспира именно смена пола дает героине дополнительные социальные возможности и приводит естественным образом к счастливой развязке [14]. Гринблатт считает, что именно такие сюжеты дают дополнительный повод говорить о культуре Ренессанса как о сложной, неоднозначной, диалогичной, хотя и с некоторыми оговорками.

Поиск противоречий и разнообразия приводит Гринблатта к размышлениям о значении индивидуализма в эпоху Ренессанса в том значении, которое мы придаем этому понятию. Действительно ли можно утверждать, что диалог в культуре возникает в результате взаимодействия и столкновения индивидов или другие причины лежат в его основе?

«Следует заметить, что даже оригинальная импровизация Марии-Жермена (это историческое лицо, гермафродит, упоминаемый Монтенем. – *А.А.*) по ее (его) замыслу должна была принять конвенциональные формы: признанное имя, пол, официальная женитьба. Ее (его) стремление быть включенным в сообщество вызывает сомнение в том, что индивидуализм как особая несводимость к общепринятому, как свобода характеризует Марию-Жермена. После работ Я. Буркхардта известно, что человек эпохи Возрождения – уже индивид, но наше исследование показывает, что индивидуальная идентичность в раннее Новое время была не целью носителей культуры, а перевалочной станцией на пути к твердой и определенной идентификации с нормативными структурами» [62, с. 75].

Индивидуализм, по мнению Гринблатта, был еще очень незрелым в эпоху Ренессанса. Он не мог бы сравниться с тем индивидуализмом, который является для нас обыденным явлением. В отличие от Я. Буркхардта, Гринблатт сомневался, существовали ли примеры индивидуализма в эпоху Шекспира. Критики же Гринблатта всерьез поднимали вопрос, а действительно ли Гринблатт хочет обнаружить следы индивидуализма, или же, напротив, он ищет подтверждения тому, что роль личности в эту эпоху была еще очень слаба. Именно этой цели служит теория субверсий, предлагаемая Гринблаттом.

В «Шекспировских сделках» Гринблатт уже не рассматривает отдельные биографии с точки зрения общей социальной форма-

ции, однако для него в этой книге имеет большое значение теория «ниспровержения / сдерживания» (*theory of subversion and containment*). Напомним здесь, что эта концепция подразумевает наличие в культуре определенных сдерживающих механизмов, которые позволяют управлять явлениями хаоса и беспорядка. «Ниспровержение» имеет прямое отношение к осуществлению различных желаний, возможно благодаря обману, иллюзии, мистификации, игре, или, например, в случае исторических пьес Шекспира благодаря шумной попойке. Что же касается «сдерживания», то это социальный механизм, который направлен на то, чтобы эти желания обуздать, упорядочить, ограничить. В результате вырисовывается мир, подчиненный единому субъекту власти.

Упомянутая только что теория находит свое наиболее яркое подтверждение в образе персонажа хроник Шекспира («Генрих IV» 1 и 2 части, «Генрих V») Генриха V. В трактовке Шекспира эта фигура получила оригинальное прочтение, не соответствующее реальной истории. В «Генрихе IV» Генрих V фигурирует как принц Хел, беспутный юноша, прожигатель жизни, который преобразуется в мудрого правителя, как только становится королем («Генрих V»). Таким образом, в свои молодые годы Генрих V демонстрирует «субверсию», тогда как позднее устоявшиеся властные механизмы начинают «сдерживать» и направлять в политическое русло его энергию.

По сути дела Гринблатт, выдвигая эту теорию, предлагает рассмотреть исторические хроники Шекспира с точки зрения той модели, по которой функционирует созданное им самим направление – «новый историзм». Наиболее значительных его авторов можно поделить на две группы. К первой будут отнесены те, которые занимаются продвижением гуманитарного продукта, привлечением общественного внимания к литературоведению и культурологии. Представители этой группы предлагают различного рода мистификации и не стесняются «обманывать» читателя ради того, чтобы их книги становились бестселлерами. К этой группе, безусловно, следует отнести и самого Гринблатта. Другая же часть исследователей, и она более многочисленна, имеет возможность воспользоваться новым статусом знания, приобретенным мистически более одаренными коллегами, и продвигать свои исследования успешнее. Таков новый механизм развития гуманитарного знания в рыночных условиях, и для науковедения этот феномен представляет особый интерес.

Гринблатт, обнаружив знакомый ему механизм на примере Шекспира, старается развить гипотезу, подтвердив ее другими примерами того же исторического периода («Рассуждения о первой декаде Тита Ливия» Никколо Макиавелли (*Niccolò Machiavelli*); «Краткое и достоверное описание земель Вирджинии» Томаса Хэрриота (*Thomas Harriot*), 1588 г.; «*Caveat for common cursitors*» Томаса Хармана (*Thomas Harman*)). Как будет показано ниже, эта гипотеза на других примерах подтверждается с натяжкой, которая не убеждает профессиональных историков и литературоведов. Однако сама теория «ниспровержения / сдерживания» и тот энтузиазм, с которым Гринблатт защищает ее, ставят под вопрос интерес Гринблатта к маргинальным практикам, декларируемый, но не подкрепляемый реальным опытом исследований.

Как весьма правдоподобно пишет Т. МакАлиндон, маргинальные практики в «Шекспировских сделках» Гринблатта – весьма эпизодическое явление, как, собственно, и их появление в самих исторических пьесах Шекспира. «В первой и второй части “Генриха IV” мы слышим “голоса народа”, но ничего из того, что “говорит” народ, не противоречит идеологии истеблишмента. Единственный оппозиционный голос – это голос Фальстафа, рыцаря, готового стать “одновременно и графом, и герцогом” (Генрих IV, часть 1 5.4.138). “Другие” голоса в “Генрихе V”, как пишет сам Гринблатт, столь же невыразительны и политически незначимы» [94, с. 424].

Некоторые аналитики считают, что Гринблатт намеренно привлекает к анализу такие тексты, которые не позволяют ему воссоздать маргинальные практики. О недостатках такого узкого подхода к проблематике контекста писал, в частности, Марк Дердзинский [50]. С его точки зрения, было бы больше пользы, если бы Гринблатт пошел традиционным путем и рассмотрел бы «Исторические хроники» Шекспира в контексте «Хроник» Холиншеда, которые, и это хорошо известно любому шекспирологу, и лежали в основе исторических пьес Шекспира. Другие исследователи преуспели на этом пути, и, в частности, Анабель Паттерсон в книге «Читая “Хроники” Холиншеда» [103] сумела представить этот текст с точки зрения заложенной в нем полифонии.

«Хроники» Холиншеда – многолетний проект XVI в., выдержавший два издания, был задуман Рейнером Вольфом (*Reyner Wolfe*) в 1548 г. как глобальный проект «Универсальной истории и космографии» с картами и иллюстрациями. В 1573 г. Вольф умер.

Издатели Джордж Бишоп (*George Bishop*), Джон Харрисон (*John Harrison*) и его сводный брат Лукас Харрисон (*Lucas Harrison*) решили продолжить проект, но уже ограничившись историей Англии, Шотландии и Ирландии. Для этого они наняли Рафаэля Холиншеда (*Raphael Holinshed*), который ранее помогал Вольфу собирать необходимые материалы. Свое авторство Холинshed разделил еще с двумя авторами, среди которых был и Вильям Харрисон (*William Harrison*). Однако «Хроники» известны именно под именем Холиншеда, и он действительно занимался общим редактированием текста.

Первое издание вышло в свет в 1577 г. и сразу же приобрело популярность. В 1580 г. Холинshed умирает, но двое из оставшихся издателей принимают решение объединиться с Ральфом Ньюбери (*Ralph Newbery*) и Томасом Вудкоком (*Thomas Woodcock*) и предпринять второе издание. Обновленный вариант должен был выйти под редакцией Генри Дерхама (*Henry Denham*), но свое название книга не меняет. Второе издание, вышедшее в 1587 г., также называется «Хроники Холиншеда». Текстуальный анализ показал, что Шекспир пользовался именно вторым изданием этого исторического фолианта.

С жанровой точки зрения «Хроники» не являются чем-то инновационным. Более того, как показывает исследование Элисон Тауфер [125], в этот период традиция хронологического изложения истории уже начинает идти на спад. Однако «Хроники Холиншеда» на общем фоне выделяются хотя бы потому, что представляют собой коллективный компилятивный труд, авторы которого не пытались изложить историю непротиворечиво. Напротив, идея Холиншеда заключалась в том, чтобы сохранить все несоответствия, многозначность толкований и предоставить читателю решать, где же именно кроется историческая истина. Многозначность и полифоничность «Хроник» была отмечена многими авторами. Хотя и кажется, что подобный текст, содержащий в себе голоса «другого» в такой явной форме, должен оказаться в центре «новоисторических» исследований, Гринблатта этот текст, похоже, не интересует. Теория и практика в некотором смысле расходятся в трудах основателя направления.

Дердзинский был не единственным автором, который заметил нежелание Гринблатта привлекать тексты, которые содержат подлинные конфликты того времени. Были и такие, которые считали, что вместо одной тотальности (литературного текста) Грин-

блатт предлагает другую (тотальность единой монолитной культуры). Вполне дружелюбный по отношению к «новому историзму» автор Х. Даброу, в частности, отмечает: «Вместо тотальности литературного текста, находящего наиболее полное выражение в формальной целостности (такое понимание было характерно для “новой критики”), многие, хотя и не все, представители “нового историзма” установили тотальность культуры, которая характеризуется непроницаемостью. Наиболее внимательные представители “нового историзма” (Монроз, например) подвергли эту особенность метода критике, но следы этой тотальности все равно остаются. Оказывается, что даже самому искусному хирургу трудно вынуть “невидимые пули”» [52, с. 427]. Х. Даброу здесь иронически отсылает к названию одной из наиболее уязвимых для критики глав книги Гринблатта «Шекспировские сделки» – «Невидимые пули». Она считает, что именно марксистское влияние привело к появлению тотальных образов внутри «нового историзма» [52, с. 428].

Однако внутри этой «тотальности» тоже не все благополучно. По словам Тома МакАлиндона [94], Гринблатт несколько вольно трактует исторические тексты. Он показывает это на примере интерпретации взглядов Макиавелли на религию. Макиавелли, в соответствии с гипотезой Гринблатта, рассматривал иудаизм и христианство как «обманку» для простых людей, которая способна приводить в порядок их желания и чувства. Этот взгляд подтвердил бы теорию Гринблатта «ниспровержения / сдерживания». Однако кое-что в своем анализе Гринблатт пытается обойти стороной, а именно тот факт, что Макиавелли нигде не высказывает подобных мыслей «в точности». Такая приблизительность если и допустима для Гринблатта, то неприемлема для МакАлиндона, который утверждает, что взгляды Макиавелли на религию были совсем иными. В религии Макиавелли видел объединяющий стержень для нации, а постепенный отход от католицизма, по мнению философа, должен был непременно худо сказаться на государственном управлении.

МакАлиндон также не соглашается с той интерпретацией, которой Гринблатт подвергает текст Хэрриота, в частности с гипотезой «невидимых пуль». Хэрриот в «Кратком и достоверном описании земель Вирджинии» отмечает, что с приходом белых людей среди местных жителей стали распространяться смертельные болезни, от которых белые не умирали. Скорее всего, местные жители не имели иммунитета к новой инфекции, которую привезли белые люди. Однако сами туземцы усмотрели в этом божественное

провидение. Они предположили, что их собственному богу неугодно их сопротивление или же белые обладают оружием, действенным, но невидимым глазу, невидимыми пулями, которые позволяют им карать врагов, не подавая виду [94].

Гринблатт старается развернуть эту историю как можно шире, придать ей более выразительное звучание, потому что в ней для него кроется «обман», которому сам он придает мистическое значение. Но МакАлиндон не намерен поддаваться чарам этого обмана. Он лишь указывает, что эта история не была выдумана ни Хэрриотом, ни другим белым человеком. Она была изобретена местными жителями. А если Хэрриот только зафиксировал ее с чужих слов, значит, он не планировал ни обмана, ни насилия, ни «ниспровержения», ни «сдерживания». В завершение МакАлиндон добавляет, что подобные «метафорические» умозаключения в устах историка и критика только удивляют [94, с. 418].

Если теория «ниспровержения / сдерживания» на самом деле препятствует тому, чтобы эпоха Ренессанса была описана с точки зрения борьбы или несогласия, то она вполне подходит для того, чтобы описывать процессы адаптации различных явлений мысли и культуры к общему доминирующему в культуре течению.

* * *

Напомним здесь, что под маргинальным Гринблатт и его коллеги понимали «редкое», «уникальное», «нераспространенное», «не часто встречающееся». Может показаться странным, но понятое таким образом понятие маргинального включало в себя не только различные девиантные формы поведения, но и, например, элитарную культуру. Ведь последняя распространена очень мало, только среди аристократии или отдельных немногочисленных слоев населения. Это можно сказать как о нашем времени, так и о различных исторических эпохах. Поэтому аристократическая культура вполне подошла под указанное определение маргинального. К явлениям маргинального характера также была отнесена и та область человеческой психики, которая проявляется вторым планом. Сюда включается и подсознательное Фрейда, и другие особые формы мышления.

Если Гринблатту не слишком хорошо удавалось видеть в прошлом его реальные социально-политические и культурные противоречия, то ему прекрасно удавалось описывать обратный про-

цесс постепенного развития маргинального процесса, его включение в общую культурную целостность. Этому обратному процессу было дано особое имя – «демаргинализация». Ф. Коннелл рассматривает проблему демаргинализации на примере Франции XVIII–XIX вв. Именно в это время во Франции активно проводилась политика частичной «культурной национализации». По сути, культурная национализация является одной из форм адаптации локальной, элитарной культуры. Материальные и духовные ценности различного порядка, бывшие частной собственностью, внезапно становились массовым достоянием [46].

В 1795 г. во Франции появилась Французская национальная библиотека, куда вошло множество конфискованных частных светских и церковных библиотек. Нечто похожее происходило и в Великобритании, где как таковой национализации не происходило, но ощутимым был процесс демократизации знания. В результате создания публичных библиотек формальных преград к знанию по истории, истории литературы не стало. Автор называет это явление «библиоманией» и считает, что оно было характерно для второй половины XIX в. [46].

«Доступность национальной литературы и обучения стала символом появления новой формы – “всеобщего культурного достояния”...Каноническое литературное произведение попадает в один ряд с другими сопоставимыми произведениями (будь то первое издание в престижной коллекции, дорогое репринтное издание, библиотечный том для пользования или дешевое сокращенное издание), и при этом символическая аура национального наследия, принадлежащего народу, сохраняется. В результате эффективной коммуникации массовая точка зрения на литературное прошлое как национальное достояние привела к существенной реформации стилистики литературно-исторического дискурса» [46, с. 39].

Проведенный Ф. Коннеллом анализ библиомании в XIX в. отчетливо показывает, что практика демаргинализации может оказаться крайне необходимой как в социальном, так и в культурном смысле. Как «национализация» культурного наследия являлась своеобразной формой демократизации общества, так и любая демаргинализация призвана снижать социальное неравенство и видоизменять стилистику культуры. Принципиальные выводы, сделанные Ф. Коннеллом в статье. В изменившихся условиях феномены имеют свойство менять свое содержание, а также меняется вся окружающая их инфраструктура. В случае с национальной литерату-

рой Франции и Великобритании поменялся статус литературного текста, язык о литературе, а также образ самого литературного критика. Выводы, сделанные Коннеллом относительно феномена библиомании, могут быть распространены на другие культурные феномены, подвергаемые демаргинализации.

Мы знаем, что представители «нового историзма» исследовали не только прошлое. Огромный интерес они испытывали к современной культуре. Ведь по большому счету «новоисторический» проект был нацелен на формирование современной культуры.

Изучение практики «демаргинализации» позволило «новым историкам» взглянуть иначе на проблему бессознательного в творчестве, так называемое «искусство на полях», характерное для многих знаменитых художников, скульпторов и других людей творческих профессий. Это случайные рисунки, нелепые изображения, наброски, оставленные математиком Ч. Пирсом, физиком П. Дираком, скульпторами Т. Бра и Г. Муром. Наброски эти, полагают приверженцы «нового историзма», можно расценить как информационный «шум», причем значение этого «шума» может быть сопоставимо с «описками» и «оговорками» в психоаналитической практике. Некоторые исследователи, однако, уходят от прямого психоанализа (например Мишель Лежа). Наброски Ч. Пирса она рассматривает как особую форму мышления.

Следует добавить, что понятия «маргинальный» и «доминантный» применялись не только в отношении феноменов культуры. Для «новых историков» также существовали более и менее значимые периоды в истории культуры. В этом смысле можно говорить о доминантных и маргинальных периодах в истории. Во второй главе мы уже говорили, что в «новом историзме» понятие «поздний Ренессанс» было вытеснено понятием «раннее Новое время». Период XVI–XVII вв. в истории английской культуры был переосмыслен как начало новой культурной парадигмы, тогда как в традиционной историографии он расценивался как завершающий этап общеевропейской культуры Ренессанса. Благодаря этому переосмыслению данный период, очевидно, из менее значимого превратился в более значимый.

3.3. «Женское» и «мужское» в исследованиях культуры

«Новые историки» занимались не только исследованиями культуры, но и проводили определенную культурную политику.

Особенно ярко авторы этого направления проявили себя в отношении женского вопроса, который уже давно достиг в США политического уровня. Между «новым историзмом» и «литературоведческим феминизмом» существовала определенная методологическая близость, заключающаяся в общем критическом отношении к устаревшим ценностям западной культуры. Однако позиция «новых историков» не была настолько радикальной, чтобы можно было идентифицировать их направление с женским движением. Определенная разница во взглядах и послужила причиной многочисленных дискуссий между исследователями двух дисциплин.

Проблематика «женского–мужского» уже давно интересует исследователей культуры. Обычно она сводится к тому, чтобы описать патриархальный или, наоборот, матриархальный уклад той или иной общности. Прежде чем суметь определить, в чем заключается «женское» в культуре, а в чем – «мужское», имело бы смысл определиться с тем, а что же такое «мужское» и «женское». Вопрос этот, упирающийся в проблематику пола, часто оказывается спорным. Очевидно, что на протяжении всей истории культуры представления о поле менялись, о чем свидетельствует обстоятельная работа Т. Лакера [84].

В основе многих гендерных концепций лежали знания об анатомическом строении мужчины и женщины. Длительное время женские половые органы считали недоразвитыми мужскими, и это давало основания для социального неравенства. «Кажется очевидным, что сексуальное различие определяется биологией – что же еще может означать секс? Историки, якобы, ничего не могут тут добавить. Наличие пениса, как правило, определяет пол. Но с таким же успехом можно предложить и другие признаки пола: менструация, лактация у женщин, наличие матки. Мужчины не имеют этих органов и способностей. Я бы не хотел обсуждать здесь эти факты. Они все не такие очевидные, как можно подумать. (Мужчина остается мужчиной даже без пениса, а попытка ученых определить пол точно, как в Олимпийском комитете, путем тестирования конфигурации хромосом, приводит к нелепым результатам.)» [84, с. VIII].

В этой книге Т. Лакер не пытается рассказать всей правды о поле. Его интересует пространство сексуального с точки зрения идеологий, которые оно может в себя вместить. Уже в приведенном абзаце используется риторика этой идеологии. Предлагая нам определять пол женщины через лактацию, Т. Лакер иронически намекает на то, чтобы определять мужчину через «отсутствие»,

«ничто», именно так, как определяли женщину в патриархальных культурах.

Интерес к гендерной тематике в конце XX в. был вызван не только тем, что проблематично само определение пола. Вместе с этим актуальным становится целый ряд вопросов моральной психологии – оргазм, удовольствие, женская активность, избирательность – также идеологических по своей сути. Дискуссии вокруг оргазма Т. Лакер, к своему удивлению, обнаружил в повивальных текстах XVII в. В них как раз оргазм рассматривался как важнейшее условие успешного зачатия. Как оказалось, некоторые физиологи не считали, что зачатие связано каким-то образом с удовольствием [84, с. 3].

Нас в данном случае интересует вовсе не природа зачатия и способствующие этому факторы, а то, что область сексуального признается «новыми историками» как предмет историзации, раскрывающий суть идеологий прошлого с нестандартной точки зрения. И конечно, исторический анализ «сексуальности» необходим для того, чтобы обозначить смысл сексуальной революции, имевшей место в XX в., как части нашего современного идеологического пространства. Но об этом будет сказано несколько позже. Вернемся теперь к методологическим проблемам анализа женской культуры в эпоху Ренессанса.

Неравенство между мужчиной и женщиной в этот период было заметно в самых разных областях, в политике, семье, искусстве. Фактически женщина была отстранена от всех творческих видов деятельности. В результате этого многие проявления женской культуры (за небольшим исключением) так и остаются недоступными современному исследователю. Кроме того что женщины эпохи Ренессанса сами мало времени уделяли искусству и литературе, исследователи намеренно умалчивали об успехах талантливых женщин. Концепция английского Ренессанса, которую «новые историки» получили в наследство от американских литературоведов середины XX в., была пронизана идеей иерархического общества, опиравшегося на патриархальную организацию.

Э. Тильярд, один из влиятельных авторов своего времени, с которым нередко спорил Гринблатт, в книге «Картина мира в Елизаветинское время» (1943) высказал мнение, что существует некоторое общее представление о мире, характерное для всех без исключения людей, живших в эпоху английского Ренессанса. Эти представления опираются на общую для всех модель, подчиненную

мировому космическому порядку. Соответственно этому порядку все неодушевленные предметы подчиняются одушевленным, все растения подчиняются животным, все животные – людям, все люди – ангелам, ангелы – планетам и так далее. Внутри каждого класса сохраняется тот же иерархический принцип. Так, в классе людей женщины подчинены мужчинам, и это является частью общей для всех картины мира. Для современников Э. Тильярда такой взгляд на культуру Ренессанса был приемлемым, поскольку многие также думали, что эпоха Ренессанса унаследовала иерархический строй от Средних веков. Этот порядок продолжал действовать, поскольку Англия оставалась глубоко христианской страной еще несколько веков [127].

«Новых историков» не удовлетворяла концепция Э. Тильярда, несмотря на ее стройность, вернее, как раз по причине ее стройности. Авторы «поэтики культуры» принципиально не могли согласиться с самой идеей «единой картины мира». В свете этого становится понятно, что новый взгляд на проблематику «женское–мужское» в культуре Ренессанса был необходим.

Параллельно с «новыми историками» в этом направлении велась работа представительницами феминистской литературной критики. До определенного момента развитие подобных исследований в рамках «нового историзма» и «феминистской критики» проходило синхронно. Этому способствовал целый ряд общих для двух направлений целей. Наиболее очевидной из них была проблема нового канона. Работы, выполненные с позиций «феминистской критики», позволяли открыть доступ к новым текстуральным источникам, существенно расширить литературный канон за счет так называемой женской литературы. Но при этом между двумя направлениями есть существенные отличия.

Вот как Х. Даброу описывает взаимоотношения представительниц двух направлений: «нового историзма» и «феминистской критики». «Наиболее очевидные поводы для расхождений между “новым историзмом” и “феминистской критикой” – неисторичность феминизма и недостаточное внимание к авторам-женщинам в “новом историзме” – могут частично, но не полностью объяснить характер баталий. Большинство критиков обращают внимание именно на эти пункты... Но не только невнимание к женской литературе в “новом историзме” беспокоит феминисток, сам подход, угол зрения противоположны феминистскому. Работы феминисток опираются на концепцию “власти патриархальной культу-

ры”, тогда как в “новом историзме” постулируется субъект, лишенный власти. Американские “новые историки” и “феминистки” не заходят в борьбе слишком далеко, поэтому сама по себе зона противоречий остается под вопросом. Противостояние, хотя и не слишком интенсивное, между представителями двух направлений в США объясняется общим влиянием, которому они подвержены, а именно марксистской критики; вот почему критики обоих направлений видят и в мужчинах, и в женщинах, прежде всего, субъектов подчинения. Другая причина, по которой противостояние между “новым историзмом” и “феминизмом” по-прежнему актуально, заключается в том, что здесь имеет место профессиональный спектакль, который с периодичностью разыгрывается рачительными критиками» [52, с. 427].

Х. Дабро одновременно указывает на серьезные методологические расхождения между двумя направлениями и при этом призывает видеть в этой полемике профессиональную игру. Представители двух направлений, действительно, с легкостью преодолевают методологические препятствия и действуют при необходимости сообща, однако следует отметить, что в целом «новому историзму» не свойственен пафос феминизма, с которым представительницы феминистической критики провозглашают значимость женской культуры. Передовые исследовательницы второй половины XX в. имели относительно английского Ренессанса вполне определенную позицию. Они считали, что женская культура в этот период существовала и развивалась довольно активно, но она находилась под давлением мужской. Их основными задачами стали открытие этих задавленных голосов и борьба с «мужским» взглядом на эту сложную культуру.

В параграфе 2.4 мы проанализировали, какую работу проделало женское движение в представлении женской литературы эпохи Ренессанса. В канон были введены имена таких женщин-писательниц, как М. Рот, М. Сидни. Положение женщины в эпоху Ренессанса феминистки оценивали в мрачных тонах. Особое внимание они уделяли поэме Джона Мильтона (*John Milton*) «Потерянный рай» (*Paradise lost*), в которой отчетливо формулируется маскулинная идеология Ренессанса.

Статья Д. Миллера, посвященная гендерной проблематике в «Зимней сказке» Шекспира, показывает, с одной стороны, традиционное понимание униженного положения женщины в культуре, а с другой – придает «женской проблеме» ироническое звучание.

Под сомнение ставится отцовство («ничто»), тогда как материнский статус остается неизменным. «Очевидно, что в елизаветинской Англии женские гениталии воспринимались как “ничто”... Эта логика только повысила значение фаллоса в “мужских” культурах. Она появляется снова, уже в противопоставлении видимого материнства и непоправимо вербального, символического статуса отцовства» [96, с. 123–124]. Метафора, свидетельствующая о незначительности женщины в культуре Ренессанса, для «нового историка» Д. Миллера оказывается обратимой.

По сравнению с матерью отец всегда уязвим, поскольку у него нет надежных доказательств его отцовства. В этом смысле любого отца можно рассматривать как существо, подчиненное женщине. «Наблюдая, как фамильярно королева ублажает его ближайшего друга, Леонт отворачивается, полный ревности. В следующей сцене он разговаривает то ли сам с собой, то ли со своим сыном Мамиллием. Он неловко колеблется между диалогом и монологом, сначала произнося красноречивые монологи, а затем резко переходя к диалогу. Эта неопределенность с адресатом подчеркивает нестабильность границы, прочерченной между отцом и сыном» [96, с. 122].

Для представителей «нового историзма» идеология отношений между полами являлась крайне плодотворной темой. Сам феномен феминизма представлял для них огромный интерес. Ведь отношение феминисток к культуре Ренессанса было не менее идеологическим, чем позиция Э. Тильярда, поскольку феминистская картина мира была также слишком однозначной и непротиворечивой, чтобы удовлетворить вкусам авторов «нового историзма».

В «новом историзме» допускалось, что обе культуры (женская и мужская) свободно сосуществовали в эпоху Ренессанса. В этом смысле интересно исследование Лизы Жардин [79], которая показывает, что женщины высшего света в эпоху Ренессанса могли себя чувствовать довольно раскованно. Она разъясняет свою мысль на примере положения матери Гамлета королевы Гертруды, которая будучи королевой, смогла сама выбрать себе второго мужа и выйти замуж сразу после смерти первого. Весь ход повествования указывает, что не было практически никаких факторов, которые сдерживали бы ее поведение. Кроме Гамлета, ее поступки никто не осуждает. Ей позволительно выбирать свой жизненный путь, манеру поведения, ее свобода заметна даже в мелочах. Л. Жардин отмечает, что Гертруда гибнет от вина, которое пьет по своей собственной воле, и эта воля противоречит желанию ее мужа.

Более пристальное рассмотрение «новоисторического» подхода к проблеме «женское–мужское» в эпоху английского Ренессанса указывает на то, что авторы этого направления оценивали вклад женщин в английскую культуру XVI в. более трезво, чем феминистки. Они подчеркивали, например, что длительное невнимание к женской литературе было вызвано не только патриархальными ценностями западной культуры, но и недостаточно высоким уровнем самой женской литературы.

Очевидно, что объем женской литературы эпохи Ренессанса значительно уступает объему мужской литературы (число произведений, оставленных мужчинами, превышает тысячи, а женской – чуть более сотни) [42]. К тому же женщины осваивали жанры, считавшиеся в этот период времени вторичными, такие как переводы, религиозные размышления, дневники. Только немногие женщины-писательницы осмеливались сочинять светскую литературу и писали в традиционно мужских жанрах (например, Э. Кери (*Elizabeth Tanfield Cary*) и ее драма «Трагедия Мариам» (*The tragedy of Mariam, the fair queen of Jewry, 1613*), романы и сонеты М. Пот).

Приверженцы «нового историзма» не замыкаются на культурных процессах эпохи Ренессанса. Для них исследование литературы и культуры XVI в. зачастую является лишь поводом для переосмысления современной культуры. Так, в поле зрения представителей «нового историзма» попадает само женское движение, которое рассматривается здесь как одна из идеологий нашего времени. М. Роджин называет женскую культуру одной из современных «демонологий», полагая, что она создается намеренно, в целях укрепления мужской культуры [111, с. 6–7].

50-е годы XX в. М. Роджин называет «эпохой момизма»¹ – явление, открытое в 1942 г., после появления книги Ф. Вили (*Philip Wylie*) «Поколение гадюк» (*Generation of vipers*), в которой автор указывает на «вероломную» попытку американских женщин занять ключевые позиции в государстве и общественной жизни. Вили считал, что женщины не имели права претендовать на мужские роли и должны были вернуться на свое место, к домашнему очагу. Чтобы расправиться с феминистками, Ф. Вили даже готов был начать атомную войну. В этом контексте вполне обоснованно звучало и само сопоставление современного американского феминизма с коммунистической идеологией. Сейчас нам кажется, что позиция

¹ От «mom» (англ.) – мама.

Ф. Вили выглядит во многом экстремистской, но она получила вполне широкое распространение, в частности в американском кинематографе.

Распущенная женщина как аллегория коммунизма присутствует в фильме «Мой сын Джон», который, строго говоря, и был задуман как антикоммунистический. Роджин особенно подчеркивал, что идеология домашнего очага в 50-е годы XX в. была основана на страхе перед женщиной, которая может получить реальную власть в обществе. Однако сами женщины так и не смогли подтвердить эти страхи [111]. Но если бы это произошло, Роджин не видит в этом ничего плохого. Во время Второй мировой войны женщины вынуждены были подменять мужчин по многим позициям, работать как они, принимать за них решения. После войны женщины не захотели расставаться с ролью, в которой уже вполне освоились. М. Роджин видел в женской культуре крайне важный политический потенциал. В отличие от Ф. Вили, он считал, что распространение американской женской культуры противостоит коммунистическому режиму, а не является его аллегорией, поскольку американские семейные ценности совершенно чужды недавно исчезнувшему советскому коммунистическому общественному строю.

Идентификация или же противопоставление феминизма коммунизму лишь придает ему высокий статус, указывая первому место среди наиболее действенных страхов 80-х годов XX в. Поскольку «новые историки» работали в тесном сотрудничестве с представительницами соседней кафедры и сосуществовали с ними в отношениях плодотворной кооперации, они в целом позитивно относились к их исследованиям и видели в них огромную пользу. Другая сторона вопроса заключается в том, что авторы «нового историзма», впрочем, как и некоторые другие исследователи, считали политические выступления феминисток определенной игрой, внутри которой мужчины укрепляют свое социальное и культурное превосходство, а женщины получают право на голос.

Помимо того что существует проблема «женского» и «мужского» голоса в культуре, есть еще и другая методологическая проблема, сближающая феминистическую критику и «новый историзм». Через пол можно определять не только тех, кто делает культуру, но и тех, кто пишет историю. А значит, возможно говорить о женском или мужском голосе историка, а также задаваться вопросом, кому делегировано право писать историю в ту или иную историческую эпоху: мужчине или женщине. На первый взгляд может показаться,

что до самого последнего времени историком мог быть только мужчина. Но, как следует из исследования М. Гуда, в начале XIX в. в Великобритании этот вопрос уже многим казался спорным. Во времена В. Скотта исторические штудии, привязанность к старым вещам, погруженность в прошлое считались занятиями, недостойными настоящего мужчины. И лишь немногие, в том числе и В. Скотт, готовы были оспаривать это мнение [69]. Среди исследовательниц вопроса гендерной истории занималась Бонни Смит [116]. Подробнее эти вопросы будут освещены в параграфе 4.3.

3.4. Соотношение «вербального» и «визуального» в культуре: Опыт «нового историзма»

Культура Ренессанса ранее представлялась как культура, унаследовавшая от Средних веков основные ценности христианства. Отсюда проистекает и ее глубокая логоцентричность, которая пережила и эпоху Ренессанса, и Новое время, и даже само христианство. Основной конфликт между образом и словом можно представить как борьбу за право передавать определенное содержание и смысл. Долгое время считалось, что образы, изобразительный материал страдают низкой информативностью, не могут выполнять учебные функции и полноценно представлять культуру. А все потому, что образную культуру не принято было наделять качеством текстуальности. Попытаемся здесь определить, какое именно значение «новые историки» придавали этому понятию.

Текстами могут считаться любые элементы культуры – картины, статуи, архитектурные памятники, литературные произведения, фотографии, художественные и документальные фильмы и т.д., которые, с точки зрения исследователя, обладают своей структурой и могут быть подвергнуты интерпретации. Таким образом в равной степени текстами являются и устные выступления, и фотоколлажи, и афиши, и музейные экспонаты, и случайная сцена на улице. Другое дело, что все эти виды текстуальности будут иметь смысл только внутри своей собственной системы символов и знаков. Говорить о переводе из одной системы в другую можно с трудом. Именно с этим связаны главные трудности, возникающие при сопоставлении письменного текста и художественного образа. Весьма распространенной представляется проблема интерпретации мифологических сюжетов в изобразительном искусстве. В этом случае словесное сопровождение искусства становится даже навяз-

чивым. В поздней Античности вербальное представление зрительного образа называлось экфразисом (ekphrasis).

«Когда мы видим скульптурные изображения женщины, или лебедя, или мальчика, выпавшего из запряженной коляски, когда перед нами разворачивается панорама битвы, некоторых участников которой мы можем идентифицировать как женщин или кентавров, в умах литературно образованных людей всплывают тексты о Леде, об амазонках. Другие рельефы могли бы быть идентифицированы благодаря мифам или историческим текстам о самом Риме (не только Вергилия и Тита Ливия). К истории Рима отсылают также фрагменты архитектуры триумфальных арок. Существуют статуи, литературный статус которых определяется благодаря иконографическим атрибутам (речь идет о многочисленных Геркулесах и Бахусах)» [37, с. 133].

Концепция образа как самодостаточного явления уже была озвучена в европейском искусстве конца XIX – начала XX в. Особенно это касается творчества символистов и сюрреалистов. Сальвадор Дали, уделявший много внимания теории, любил говорить о своей кинокартине «Андалузский пес»: Самое главное, чтобы в ней не было ни пса, ни Андалузии. Сюрреалистическое искусство было призвано разорвать сюжетную связность, которой мы обязаны литературе. Эта связность принадлежит нашему сознанию, но она не отражает природы некоторых вещей. Именно поэтому заявление Э. Нагински о необходимости изучать «специфику графики, живописи вне апелляции к литературной критике» [99, с. 67] уже не является принципиально новым. Это заявление могло привлечь внимание только потому, что оно было сделано в рамках литературоведческого направления.

Текстуальная природа зрительного образа и слова несопоставимы. Но это не означает, что между ними не выстраиваются отношения. В христианской культуре изображения играли второстепенную роль, в иерархии ценностей значительно уступали слову. Но в XX в. ситуация перевернулась, стали появляться научные работы, демонстрирующие, что слово по своему эвристическому потенциалу значительно уступает видимому миру. Эта традиция была основана М. Фуко, в частности его трактатами о медицине. В книге «Рождение клиники: Археология врачебного взгляда» (1963) он показывает, какую революционную роль зрительное восприятие сыграло в медицинских опытах XVIII в. По его мнению, именно тогда «глаз стал хранителем и источником ясности, располагая

властью заставить выйти на свет истину» [27, с. 13]. Выдающимся врачом М. Фуко называет Мари Франсуа Ксавье Биша (*Marie François Xavier Bichat*), визуальные наблюдения которого позволили определить принципы распространения инфекционных болезней, подойти к проблеме специфичности при поражении органов и тканей в организме.

В «новом историзме» эти идеи развивает Л. Вилсон на примере известного английского физиолога XVII в., открывшего кровообращение, Уильяма Гарвея (*William Harvey*). Дело в том, что Гарвей многие свои открытия сделал благодаря анатомическим вскрытиям. Попутно он читал студентам лекции и записывал основные результаты исследований. Хотя мы узнаем о работе Гарвея именно из его «Лекций», для самого ученого первостепенное значение имели вскрытия, всякий раз менявшие его знания о человеческом организме [134, с. 75].

Когда речь заходит о «преимуществах» образа над словом (а в последнее время речь обычно заходит именно об этом, поскольку обратный тезис муссировался множество веков), то на ум приходит еще одна особенность образа, его способность воздействовать на зрителя более непосредственно, без учета его образовательного уровня, профессиональных навыков, или, иными словами, психологическое влияние художественного произведения. Например, Л. Баркан в своем исследовании, посвященном нашему восприятию античных статуй, приходит к такому выводу: «Статуи, когда они изображают человеческое тело, сравнивают не только с другими статуями, но и с живыми людьми» [37, с. 144]. В данном случае становится актуальной та самая «перспектива настоящего», которую мы рассматривали во второй главе. Этой же проблемой занимались такие исследователи «нового историзма», как Э. Сноу и К. Армстронг. Последняя анализирует степень воздействия на зрителя фотографий таких современных мастеров, как Билл Брандт (*Bill Brandt, Великобритания*) и Андрэ Кертеш (*Andrè Kertész, Венгрия*). Зрители, которые рассматривают эти фотографии, не только сравнивают обнаженные натуры со своим собственным телом, но, по мнению Армстронг, происходит психологическая самоидентификация зрителя и модели фотографии. Всеми виной необычные позы, принимаемые женщинами, особые ракурсы, игра воображения зрителя.

Пожалуй, это описание проблематики визуальности в «новом историзме» можно назвать кратким. Но основной перечень подходов все же находит в нем свое отражение.

Глава 4

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГЛАЗАМИ ЛИТЕРАТУРОВЕДОВ

4.1. «Новоисторическое» исследование как меланхолическое созерцание

Чем подробнее мы рассматриваем «новый историзм», тем чаще мы замечаем, насколько легко и органично представители этого направления могли заимствовать различные культурные модели, принадлежащие отдельным эпохам, в том числе и подвергающимся непосредственному анализу. Практика «социального обмена» была открыта С. Гринблаттом в тот момент, когда он исследовал театральные представления эпохи В. Шекспира. Однако очень скоро эта же модель «трансформации культурной энергии» была успешно применена М. Роджином для анализа политических приоритетов бывшего президента США Р. Рейгана и многими другим исследователями.

Среди наиболее излюбленных «новыми историками» эпох оказалась не только эпоха английского Ренессанса, но и время французского Просвещения со своей особой эстетикой «фрагментарности». Эта эстетика напрямую связана с изучением «руинированного» прошлого, а точнее, с его созерцанием. Она получила свое воплощение в творчестве художника Ю. Робера (*Hubert Robert*), изображавшего не только руины прошлого, но и предвосхищавшего будущее разрушение современности. В частности, Ю. Робер имел смелость изобразить разрушенным сам Лувр, цитадель современного ему искусства. Немалую роль в формировании этой эстетики сыграли и слова Д. Дидро (*Denis Diderot*), который,

разглядывая руины, изображенные Робером, заметил, в частности, что они приводят его в состояние сладостной меланхолии.

О меланхолии речь здесь заходит совершенно не случайно. По замыслу С. Герда, автора статьи об исследовательском методе культурного анализа [71], «меланхолическое созерцание» – ключевое понятие современной исследовательской техники. Собственно, определяется этот метод в основном тем, на что исследователь смотрит и что он при этом видит.

Руины были обозначены в культуре французского Просвещения как аутентичные памятники культуры в противоположность тем, которые выглядят хорошо сохранившимися и целыми. Для литературоведения существенным аналогом архитектурных руин выступают недописанные или переписанные литературные памятники, а также тексты, дошедшие до нас во фрагментарном, искаженном виде. В конце XVIII в. концепция «незавершенности» литературного памятника получила свое обоснование у Ф.А. Вольфа (*Friedrich August Wolf*), который в книге «Пролегомены к Гомеру» (*Prolegomena ad Homerum, 1795*) открыл то, что позднее стали называть «вопросом Гомера». Он обратил всеобщее внимание на тот факт, что прежде чем тексты Гомера были записаны, они бытовали в устной форме в течение нескольких веков. История этого текста может быть описана, скорее, как история его редактирования. Вольф был далеко не единственным литературным критиком, ставящим под вопрос само понятие «канонического текста».

В 1934 г. Д. Пейдж (*Denys L. Page*) в книге «Actors' interpolations in Greek tragedy studied with special reference to Euripides' Iphigenia in Aulis» отмечал: исследуя античные трагедии, мы имеем дело с текстами, предназначенными для театральных постановок. Таким образом, «подлинной» является сама постановка, а не письменный текст, сделанный на ее основе или ради нее. Именно о трагедии Еврипида «Ифигения в Авлиде», которую анализировал Пейдж, речь и пойдет ниже.

Обращая внимание на литературный процесс как на живую историю, Герд предостерегает читателей от наиболее распространенных ошибок, коренящихся в традиции ведения литературоведческих исследований. Первая из них неизбежно возникает, когда исследователи задаются вопросом: «что хотел сказать автор?». Как уже было сказано ранее, научно этот подход называется «интенциональным». В нем литературное произведение изучается как воплощение «намерения» автора, или его «интенции». Приоритет бо-

лее верных интенциональных версий над менее правдopodobными обязательно ведет к логической ошибке, будто эта интенция непременно существует [71].

Вторая не менее распространенная ошибка заключается в том, чтобы анализировать, «что на самом деле написал автор». Ведь эта гипотеза подразумевает, что написанное представляет собой нечто структурированное, целое и может быть проинтерпретировано одним уникальным образом. Герд не единственный автор, пытающийся высветить здесь немаловажный для «нового историзма» аспект «ограниченных возможностей исследователя». Причем он полагает, что эти ограничения не следует расценивать как аномалию, напротив, можно их использовать методологически. В данном случае Герд опирается на кантовский императив непознаваемости «вещи самой по себе».

В своем собственном анализе пьесы Еврипида «Ифигения в Авлиде» Герд выбирает заведомо неканоническую версию этой трагедии, предложенную немецким филологом Г. Германном (*G. Hermann*) в 1847 г. Подготовленный в рамках диссертационного исследования текст филолога (*De interpolationibus Euripideae Iphigeniae in Aulide*) почти сразу был отвергнут на том основании, что 16 несохранившихся строк этого произведения Германн взялся «дописать» самостоятельно. Более того, Германн «дописывал» это произведение в течение 30 лет и в 1847 г. лишь предложил «улучшенную» версию творения своей жизни. Естественно, что его версия «Ифигении в Авлиде» сразу же была признана ошибочной и оставлена без особого внимания.

Свой литературоведческий поступок автор диссертации тем не менее попытался обосновать. Он подчеркнул, в каком плохом состоянии дошел до него и его современников «оригинальный» текст, который уже точно не был оригинальным, а был всего лишь списком, не имеющим ни даты, ни установленного автора. Многие страницы этого текста оказались перепутаны, некоторые (последние) утеряны, а отдельные места так и остались неясны. К тому же косвенные данные показывали, что неизвестный переписчик сам удалял неясные ему места и «полировал» швы [71].

К середине XIX в. уже существовали версии, по которым Еврипид, скорее всего, сам оставил свое произведение недописанным. В 1808 г. А. Бек предположил, что хотя пьеса впервые была поставлена при жизни Еврипида, посмертно она была отредактирована его сыном в связи с пародией Аристофана на эту пьесу («Ля-

гушки»). В 1813 г. А. Матье подтвердил это предположение. В этом случае Германн уже становится одним из многих авторов, писавших «Ифигению в Авлиде».

Довольно любопытно приводимое Гердом сравнение различных версий трагедии, сделанных Германном в разные годы. Например, в 1847 г. в 11 строке Германн заменил в выражении «σε κρίσις ἔμενε» («ожидаящий тебя суд») несколько букв и получилось «σε κρίσις ἔμεινε» («суд, сделавший тебя безумным»). Таким образом, он вводит дополнительную психологическую характеристику известного античного персонажа троянского царевича Париса. В 1831 г. слова «ты пришел, о, Парис, туда, где тебя разбудит пастух» Германн заменил на другие: «я бы хотел, чтобы ты, о, Парис, никогда не пришел туда, где пастух тебя разбудил бы» [71]. Смысловое различие и в этом случае очевидно.

В 1847 г. добавляется еще строчка: «я бы хотел, чтобы больше ты не увидел света». Новые строки вынуждают Германна вставлять дополнительные пробелы (чтобы сохранить ритм). Собственно это делает текст Германна еще более фрагментарным, чем первоначальный вариант «Ифигении в Авлиде». Очевидно, что фрагментарность здесь уже выступает не в качестве признака несохранившегося текста, а является естественным следствием его незавершенности и работы по его восстановлению.

Употребление аориста¹ в досочиненном отрывке Германна также имеет значение, поскольку указывает на принципиальность самого «меланхолического безумия», а не времени, к которому оно относится. Герд считает, что употребление аориста позволяет распространить концепцию меланхоличности и на настоящее время [71]. Собственно в этом месте автор «новоисторического» исследования довольно открыто признает, что не только описывает, что такое меланхолическое созерцание, но преподносит его как метод, вполне применимый в современных культурологических исследованиях.

Применение концепта, взятого из французской художественной культуры XVIII в., для анализа исследовательской манеры немецкого автора XIX в. уже нельзя признать чем-то самим собой разумеющимся. Однако для «новых историков» возможно и ретроспективное применение культурных моделей. Например, известно, что та же самая эстетика французского Просвещения заметно по-

¹ Аорист – грамматическое время, характерное для ряда индоевропейских языков, в том числе для древнегреческого, передает законченное время в прошлом.

влиятеля на традиционные для «нового историзма» ренессансные штудии [95].

Не следует думать, будто именно исследователи изучаемого здесь направления первыми стали активно использовать культурные технологии прошлого. Известно, что классические американские филологи-универсалисты начала XX в., о которых речь шла выше, активно использовали христианскую модель и иерархический подход, воплощенные в концепции «великой цепи существования». Однако очевидно, что «новые историки», в отличие от филологов-универсалистов, адаптируют старые методы более осознанно.

«Фрагментарный» подход к анализу истории культуры стал необыкновенно популярен и был удачно реализован в ряде художественных мистификаций современных писателей, основанных на апокрифических источниках (Браун, Перес-Реверте). Только чаще всего апокрифическая версия в современной художественной прозе занимает место канонического текста и выступает в роли еще более «правильного». Да и в «новом историзме» это часто происходит, поскольку две концепции – «культурного обмена» и «фрагментарности культуры» – по сути своей остаются несовместимыми, если рассматривать их с точки зрения канонического текста.

Идея исследования «фрагментов» культуры получила в «новом историзме» широкое распространение. На страницах журнала «Репрезентейшенс» рассматриваются не только дошедшие до нас фрагменты различных литературных и нелитературных текстов, но и то, что называется фрагментами сознания, что прямо выводит «новый историзм» за границы литературоведения и сближает направление с теорией бессознательного (подсознательного) З. Фрейда. В качестве примера подобного исследования приведем здесь работу Сьюзен Стюарт, посвященную элементам бессознательного в известном романе Эмили Бронте (*Emily Jane Brontë*) «Грозовой перевал» (*Wuthering Heights*). Вслед за З. Фрейдом Стюарт наделяет сознание человека способностью сохранять в себе все, с чем оно сталкивается, даже то, что человек сам или другие пытаются в нем подавить [123]. Роль «подсознательного» в «Грозовом перевале» лучше всего выполняют встроенные в роман фольклорные сказки.

Читателю, анализирующему «Грозовой перевал» вместе со С. Стюарт, надлежит, прежде всего, понять, что такое «архаизм». Сложность работы с этим понятием, с точки зрения автора статьи, заключается не только в том, что старые значения архаического

образа могут быть утеряны, а в том, что его осовремененные значения приносят в происходящее новый смысл. Можно расценивать этот факт как досадный, а можно относиться к нему позитивно, поскольку именно благодаря этому «архаизмы» бывают защищены от попиранья и тления.

Автор статьи усматривает в романе целый ряд подобных архаизмов. Некоторые из них заслуживают особого внимания, поскольку они существенно меняют значение отдельных сцен «Грозового перевала». Когда одна из героинь анализируемого романа Кэтрин после ссоры ее мужа Эдгара и возлюбленного Хитклифа лишает себя пищи, она берет в руки голубиное перо из подушки и говорит: «Неудивительно, что я не могу умереть». Читателю, не знакомому с символикой английских баллад, скорее всего, покажется, что Кэтрин сошла с ума. Тем более что это же подтверждают слова самой рассказчицы романа Нелли Дин. Однако известно, что по йоркширским преданиям голубиное перо или перо любой другой дикой птицы считалось своего рода оберегом [123].

С учетом этого можно рационально объяснить слова Кэтрин. Она верит в святую силу голубино пера как ее научили с детства, и ей очевидно, что такие перья в подушке не дают ей возможности умереть, к чему она так стремится. Значение также приобретают и ее дальнейшие действия. Кэтрин начинает потрошить подушку и классифицировать перья (очевидно, чтобы отобрать из них именно голубиные). Хотя со стороны ее попытка создать в комнате такой беспорядок, скорее всего, будет выглядеть безумной.

Мистические действия совершают и другие действующие лица романа. Так, Нелли Дин вполне рационально объясняет себе и своему благодарному слушателю Локвуду, почему она открыла окна и двери в комнате умирающей Кэтрин (чтобы не было так душно) и закрыла зеркало шалью (чтобы бедная девочка не испугалась своего изможденного личика). Однако в йоркширских сказках близкие открывают окна и двери и закрывают зеркало шалью, чтобы помочь человеку умереть, а не выздороветь. И это делает старую служанку дома Дин причастной к смерти Кэтрин [123].

Роман пронизан и другими символами шотландских песен и сказок, знание которых, возможно, и не изменит нашего понимания текста, но позволит людям, знакомым с этой балладной культурой, себя идентифицировать. К таким символам относятся слезы, которые в изобилии проливают Кэтрин и Хитклиф (основные действующие лица этой мистической истории), мотив розы и терна, доб-

ровольный отказ от пищи. Более того, в текст романа прямо вписаны некоторые широко распространенные в народе балладные песни, такие как «Svend Dyring» («The Ghaist's Warning»), «Chevy Chase», «Fairy Annie's Wedding» [123].

Фактически «Грозовой перевал» представляет собой роман в романе, и одно и то же действие может быть проинтерпретировано по-разному в зависимости от того, какой роман мы читаем, внутренний или внешний. Для того чтобы прочитать внутренний роман, скрытый от поверхностного взгляда, необходимо собрать рассеянные в романе фрагменты древней балладной культуры и постараться соединить их в единую мозаику, реставрируя утерянные элементы по своему усмотрению и в соответствии со знанием того самого культурно-исторического контекста, которого так опасались «новые историки» поначалу.

Стьюарт продемонстрировала нам яркий пример восстановления поврежденного исторического полотна по сохранившимся фрагментам. В данном случае в качестве фрагментов выступали отдельные, случайно вырвавшиеся фразы, слова, намеки, строчки старых песен, отдельные пометки на полях (Кэтрин оставляла пометки на полях прочитанных книг)¹. Однако представлять историю возможно и тогда, когда даже ее фрагменты отсутствуют, но сохраняются свидетельства, лишь косвенным образом на них указывающие. В истории литературы есть особые творческие жанры, построенные по этому принципу, хотя и следует признать, что эти жанры обычно оттесняются на периферию общего литературного процесса. Как раз одним из них является литературная пастораль, к которой С. Стюарт и П. Альперс и стараются привлечь внимание, воссоздавая историю этого жанра от Античности до наших дней [32].

Историю пасторального жанра можно рассказывать по-разному в зависимости от того, как будет определяться сама его специфика. Если полагать, что основной чертой пасторали является противопоставление деревенской жизни городской, то начинать историю нужно с греческого поэта Феокрита и с его «идиллий». Но есть исследователи, которые считают основателем традиции пасторали Вергилия (*Publius Vergilius Maro*). В его эклогах впервые возникает герой, умирающий от любви (поэт, пастух), и его слушатель

¹ Проблеме «пометок на полях» «новые историки» посвятили отдельный номер журнала.

(бог, пастух и т.д.). Наличие слушателя в этом определении пасторали становится краеугольным.

Эту традицию «самопредставления» страдающего поэта продолжает Ф. Петрарка (*Francesco Petrarca*), а за ним итальянский поэт Я. Саннадзаро (*Jacopo Sannazzaro*, роман «*Аркадия*», 1481–1486), испанский романист Х. Монтемайор (*Jorge de Montemayor*, роман «*Диана*», 1558–1559) и итальянский поэт Т. Тассо (*Torquato Tasso*, пасторальная драма «*Аминта*», 1573). Английская пастораль зарождается несколько позднее благодаря появившейся в 1590 г. «Аркадии» сэра Филипа Сидни (*Philip Sidney*). На автора этого произведения, как известно, сильно повлияли произведения Монтемайора и Саннадзаро. В. Шекспир также находился под влиянием этого стиля, в частности имя Офелии он позаимствовал у Саннадзаро, но гораздо больше о пасторали он узнал из творчества своего соотечественника сэра Ф. Сидни. В эпоху английского Ренессанса пасторальные стихи писал также Э. Спенсер (*Edmund Spenser*, *Shepherdes calendar*, 1579).

Пасторальная песнь специфична тем, что подразумевает, но не имеет своего слушателя. Стьюарт эту проблему называла «проблемой Филоктета» [цит. по: 32, с. 4], ссылаясь на опыт знаменитого троянского героя, брошенного своими соотечественниками на безлюдном острове Лемнос. Страдая от неизлечимых ран, он вынужден быть пережить свои мучения в полном одиночестве. Гомер живописно нам передает, каким именно мукам подвергался Филоктет на острове. Он находился в агонии, корчился от боли и т.д., но на самом деле никто не знает, как именно он «корчился», потому что этого никто не видел. В этой неразделенности обыденного страдания и заключается специфика пасторального жанра.

Идеальной пасторалью считается ранняя поэма В. Вордсворта (*William Wordsworth*) «Разрушенный коттедж» (*The ruined cottage*, 1795–1797). На примере стихов, произносимых от имени героини Маргарет, можно заметить, что для пасторали характерны музыкальность и ритмическая простота. Как ни странно, именно реалистическое изображение позволяет страдающему существу обрести свой голос:

*I have slept
Weeping, and weeping I have waked; my tears
Have flowed as if my body were not such
As others are, and I could never die [цит. no: 32].*

Пасторали первоначально принято было петь вечерами в сельской местности, жизнь в которой и так была несладкой, поэтому дополнительные приемы выразительности здесь были ни к чему. К тому же «нормальный» язык сам по себе обладает силой и выразительностью.

Для исследователей дискуссионным остается вопрос относительно знаменитого эпизода в «Гамлете» Шекспира. В этом эпизоде Гертруда сообщает Лаэрту, брату Офелии, о печальном событии, гибели его родной сестры. Проблема в том, что Гертруда не просто сообщает о событии, она его интерпретирует, признавая, что Офелия не справилась со своим горем, что, конечно, сразу делает это признание противоположным пасторальному. Стюарт считает неубедительными и фальшивыми все внешние указания на пасторальный жанр в этом стихе (описание пейзажа, плетение венка, точное название всех цветов, упоминание о пастухе). Очевидно, что Гертруда проецирует на Офелию свою собственную печаль и неудовлетворенность. Это именно она не справляется со своим горем, а не Офелия. Однако простое упоминание цветка ворона, крапивы, ромашек и длинных пурпуровых цветов дают Альперсу повод предположить, что Офелия погибала, страдая в одиночестве, в лучших традициях пасторального жанра. В этом смысле беспомощная девушка Офелия оказалась в той же ситуации, что и воин Филоктет [32].

Еще один яркий пример изображения «страданий Филоктета» – сонеты Джерарда Мэнли Хопкинса (*Gerard Manley Hopkins*), иезуитского монаха XIX в. Вера этого поэта претерпевала различные изменения, и он отчаянно мучился в те моменты, когда она его оставляла. Его стихи также известны как «жуткие сонеты» (*terrible sonnets*). «My laments / Is cries countless, cries like dead letters sent» [цит. по: 32]. «Я посылаю свою боль как письма, которые не будут востребованы адресатом». Это и есть указание на скрытую ото всех боль, как выразительное молчание или указание на «ничто», которое тем не менее должно иметь свой голос. С формальной точки зрения стихи Хопкинса не пасторальны, особенно если учесть вокальный эффект, который они создают, и аллитерацию, совершенно не свойственную подобным стихам, но их содержание позволяет Альперсу считать их таковыми [32].

Пасторальные стихи часто считают разновидностью лирических, хотя генеалогически они сильно различаются. Кроме того, можно говорить не только о пасторальных стихах как о жанре, но и

о «пасторальности» как свойстве отдельных драм, стихов, романов или пьес. В этом случае «проблема Филоктета» окажется за рамками узкого литературоведения и приобретет новое значение в исследованиях культуры.

4.2. Современное конструирование истории: В поисках аутентичности

Традиционный вопрос профессионального историка «как было?», по сути, не лишился своей значимости, но надежда на прямой ответ на этот вопрос со временем ослабла. Историческая методология «нового историзма» подразумевает, что гораздо проще и точнее ответить на этот вопрос можно было бы, если предварить его другим: «как это было записано?». Казалось бы, второй вопрос несколько уводит нас в сторону от познания, однако это не совсем так. Обычно неточности, нестыковки, прямая ложь скрывают за собой наиболее важные моменты истории. Анализ этих искажений, который можно назвать «историческим психоанализом», иногда приносит свои результаты и позволяет историку увеличить наше знание о прошлом. Однако в этом параграфе мы лишь хотели разобраться с узким вопросом о конкретном физическом «месте», в котором представители этого направления пытаются установить аутентичное прошлое.

Прежде чем это место будет названо, хотелось бы прояснить смысл самого понятия «аутентичность», который вкладывают в него «новые историки». «Вопрос об аутентичности – один из важнейших вопросов исторической дисциплины, специалисты в области различных гуманитарных дисциплин задаются им снова и снова. Когда я только приступал к исследовательской работе, у меня не было своего ответа на этот вопрос, но теперь, я думаю, простой ответ заключается в том, что в конце XVIII – начале XIX в. понятие “аутентичности” было окончательно определено с тем чтобы оно могло универсальным образом обозначать “подлинность” и “уникальность”. Однако прежде этого периода аутентичность понималась в западной культуре совершенно иначе. Если мы обратимся к современному пониманию аутентичности, перед нами возникнет та же самая проблема. В различных культурах она понимается по-разному. И все это потому, что сама по себе аутентичность не существует, она всегда конструируется путем акцентирования, концентрации внимания, процедур тестирования. Она возникает в результате длительных дискуссий и

тщательных измерений, занимающих много времени, и никогда не возникает одновременно» [76, с. 1].

Эта подробная цитата из интервью с Рандольфом Старном, одним из наиболее активных авторов «Репрезентейшенс», чей карьерный рост как раз пришелся на период расцвета «нового историзма», свидетельствует о том, что угол зрения на аутентичность со временем изменился. Во-первых, следует сразу отметить, что это понятие в «новом историзме» редко применяется по отношению к текстам, то есть речь, как правило, не идет об аутентичности того или иного манускрипта или памятника. Это сразу отличает трактовку понятия от знакомой нам позитивистской. К тому же аутентичность сама становится понятием историческим, свидетельствующим о состоянии научного метода в отдельную историческую эпоху, если для этой гипотетической эпохи, конечно, вообще характерно свойство научности. В этом же интервью Старн поясняет свою мысль на примере кабинетов чудес, получивших распространение в эпоху Возрождения.

Сейчас нам может показаться, что знаменитые кабинеты, дошедшие до нас в описаниях и художественных изображениях, представляют собой нагромождение предметов разного класса. Мы бы никогда не стали помещать в одну комнату редкие раковины, драгоценные камни, монеты, геммы и картины. Для этого у нас имеются специализированные комнаты и музеи. Но в эпоху Возрождения принципы классификации были совершенно иными: «по форме и размеру, независимо от того, рыба это или дичь» [76, с. 11]. К тому же ни один кабинет не обходился без своей изюминки – чудесного: возможно, это был дракон, привезенный из Китая, или скифская овечка из Восточной Азии, или трехголовая корова. Мы бы сказали, что наличие мифического предмета в музее противоречит принципу научности, но основным правилам и принципам гуманистического кабинета это не противоречило. Вот почему, когда мы говорим о «странностях» науки эпохи Возрождения, о неточностях, допущенных, например, Атанасиусом Кирхером (*Athanasius Kircher*) в «Иллюстрированной энциклопедии Китайской империи» (*China monumentis illustrate, 1667*), мы совершаем методологическую ошибку, поскольку для той исторической эпохи смысл самого понятия «точность» был иным.

Подобные рассуждения «новых историков» были бы не так важны, если бы восприятие «точности» в самом «новом историзме» совпадало с традиционным, позитивистским. Но это было не так.

Дело в том, что «новые историки» увидели, что нет никакого смысла проверять документ на подлинность, пытаться отличить миф от реальности, если мы не имеем представления о личных амбициях и стремлениях его составителя. Это все равно, что проверять на подлинность ложный обвинительный приговор, чернила будут принадлежать нужной эпохе, но содержание не будет «правдивым»¹. Вот почему «новых историков» интересует не точность, а ошибки, кроющиеся в официальных свидетельствах. С. Ватерман снова и снова возвращаясь к этой теме, обращает наше внимание на каталоги книг, сохранившиеся в одной из частных коллекций XIX в. [132].

Эта коллекция принадлежит члену бельгийского аристократического рода Вальтеру Хэллоу, молодому человеку атеистического склада, вопреки семейной традиции. Чтобы не отдавать своих детей в церковную школу, он сам занимался их воспитанием, для чего и собирал личную библиотеку, впоследствии объединенную с книжным собранием его отца и купленную Библиотекой Конгресса. В самом семейном доме в Лонгшампе сохранились только каталоги книг. По этим каталогам часто пытаются восстановить список входящих в собрание изданий. И немногие помнят, что часть книг, упомянутых в этих каталогах, вообще не выходила, потому что нужного числа подписчиков так и не набиралось. В каталогах были описаны лишь предлагаемые к изданию книги [132]. Вот они – исторические ловушки, одна за другой лишаящие нас веры в исторический документ и подлинность исторического факта. Ватерман предлагает критически рассмотреть еще одно документальное свидетельство.

По данным, которые возможно обнаружить в «*Annuaire de la noblesse belge*», Вальтер Хэллоу женился в 1871 г., тогда как его отец обсуждает с ним обстоятельства его будущей свадьбы только в письме 1881 г. Более того, есть свидетельства, что Вальтер так и не женился на матери двоих своих детей из принципа [132].

Ничего не остается делать, как проверять на «подлинность» самого составителя документа, узнать нечто о его политических взглядах, социальном положении, комплексах неполноценности и некоторых личных качествах. Именно такое тестирование и стал проводить Гринблатт в уже не раз упоминавшейся работе «Формирование “я” в эпоху Ренессанса». Именно этот подход выбирает и

¹ В данном случае термин употребляется в хорошо известном позитивистском смысле.

Старн, анализируя весь свой творческий путь, уже подходящий к концу в 2004 г.

«Когда я впервые приехал в архив во Флоренции, я оказался в помещении вдвое больше нашего Центра. Эта комната, где вы могли сразу получить не более двух томов или папок, не обогревалась зимой. В основном в архив приходили иностранцы, приехавшие из разных уголков мира. Все они, так или иначе, являлись признанными экспертами, допущенными, так сказать, к самой сути, к первоисточнику, сведения о котором они должны были отвезти к себе домой. Единственное, о чем мы никогда не задумывались, каким образом создавались эти архивы, как они оказались именно в этом месте, какова история их создания. Мы приехали, чтобы эти архивы использовать для написания истории, а не затем, чтобы задумываться над историей их формирования. Но, конечно, путь создания и хранения истории был долгим, и этот путь существенно повлиял на формы организации и хранения архивных материалов» [76, с. 10].

Из этой цитаты может сложиться впечатление, что архивы вообще вызывают недоверие у Старна. Сразу хотелось бы отметить, что это впечатление ложное. Старн много лет проработал в архивах и написал немало статей и книг об итальянском искусстве. С. Гринблатт, Р. Дарнтон, очень многие историки, причислявшие себя к направлению и сотрудничавшие с ним, были профессиональными архивистами и писали свои исследования в духе «нового историзма» на основании архивных материалов¹. Другое дело, что Старн предлагает пересмотреть традиционное отношение к архивам, изменить процедуры тестирования и, возможно, уравнивать архивы с другими институтами памяти.

В 2005 г. Р. Старн написал в «Американском историческом журнале» статью, в которой кратко изложил последние изменения, произошедшие в музейных исследованиях, позволяющих сблизить эту дисциплину с «новым историзмом» [119]. В 80-е годы сначала во Франции, а затем и в Великобритании появились первые признаки того, что традиционный подход к изучению музейного объекта требует изменения [101]. Питер Верго и Роберт Ламли выступали за новое осмысление музея с точки зрения его собственной истории. Так сложилось, что именно сотрудники крупнейших музеев

¹ Р. Дарнтон, в частности, написал очень интересную работу о романе, написанном в аллегорическом стиле служанкой французского короля (Людовика XV) мадмуазель Бонафон, на архивных материалах Бастилии [48].

мира (среди которых Британский музей) проявили большую гибкость в отношении современных проблем истории и стали ближе «новым историкам», чем университетские историки, по-прежнему отстаивающие свой профессиональный бастион. Как и «новые историки», прогрессивные представители «новой музеологии» подверглись критике со стороны признанных, авторитетных фигур исторической науки [74].

Однако метод, при помощи которого исторические события извлекаются на свет, важнее места, где фокусируется история. «Новый историк» не столько выбирает, куда ему пойти: в музей или в архив, сколько старается понять, что такое для него «архив» или «музей».

В архиве можно целенаправленно искать никого до сих пор не интересовавшие документы или, скажем, начать писать историю на основе заведомо «недостовверных» источников. Такой архив может оказаться привлекательным для «нового историка». Точно так же музей можно трактовать как место, в котором выявляются, хранятся, трактуются и популяризируются различные предметы в интересах общества. И тогда лавиной начнут обрушиваться вопросы, а что это за предметы, почему, как и кем они были выбраны для изучения, кто и с какой целью берется их исследовать и что это за безличное общество, в интересах которого музей существует. То есть, как видно, и архив, и музей могут быть как привлекательным местом для исследователя, так и отпугнуть его. Какой же музей в таком случае сможет стать полезным современному исследователю, работающему в рамках «нового историзма»?

Может показаться, что это музей, вобравший в себя все новейшие веяния, музей запаха, вкуса, тишины и прочих неподходящих для выставления явлений. Вовсе нет. Анализ показывает, что авторы исследуют традиционные выставки, коллекции, которые трудно было бы назвать чрезмерно новаторскими, например Л. Баркан, как мы видели, рассматривает коллекцию античных статуй. В этом случае «новоисторическим» исследование делает особый подход, основанный на анализе визуального нарратива, о чем подробно было сказано в третьей главе.

Одновременно с этим заметна и другая тенденция. Музеем может быть признано некоторое пространство (в том числе и пустое место), любое собрание фотографий (незарегистрированное музейными работниками и никак не зафиксированное в каталоге ценностей) в том случае, если автор исследований считает, что это

пространство или собрание отвечает специфическим условиям, например, каким-то образом фиксирует процессы, проходящие в человеческой памяти. Именно этот аспект требует от нас того, чтобы мы переопределили само понятие музея в соответствии с той новой функцией, которую он выполняет в «новоисторической» работе. Музеем в «новом историзме» считается любое пространство, которое способно активировать память отдельного человека или группы людей, в результате чего может быть написана или рассказана та или иная официальная или неофициальная история. С этой точки зрения музеем можно считать и любой неогороженный участок в поле, но только в том случае, если он может у кого-то вызвать воспоминание о войне, холокосте или ином, в том числе и трагическом, событии [36].

Предоставим сознанию свободу выбора, и это основной постулат «нового историзма», на чем ему сконцентрироваться: на картине, висящей на стене, на раме, обрамляющей картину, на стене, на которой висит картина, или же на паутине, живописно украшающей угол. Вспомним хотя бы небольшую работу Тимоти Джеймса Кларка, написанную о Сезанне. Ведь именно в ней автор впервые обнаружил, что фигуры на картинах Сезанна изображены крайне неоднозначно. Одно и то же тело можно трактовать и как женское, и как мужское, и как покоящееся, и как вовлеченное в движение. И наш выбор самым существенным образом повлияет на ту историю, которую мы сможем рассказать о картине. Такое изображение Кларк называет паратактическим, намекая таким образом, что перед нами отдельные явления, представленные без связи¹.

«Даже если мы будем описывать фигуру женщины слева “шагающей”, она все равно будет казаться нам странной, потому что точно так же мы можем считать ее и стоящей на месте. Посмотрите на ее левую руку, она свободно опущена вдоль тела так, как будто женщина никуда не движется. Фигура, таким образом, остается открытой для любого интерпретатора... Справа от этой женщины расположен(а) (к сожалению, мы не можем определенно обозначить пол следующей фигуры) или мужчина, или женщина. Мускулатура и строение тела выглядят двусмысленно, если сравнивать фигуру с тем, что мы ожидаем увидеть, и даже с другими

¹ Паратактическими в грамматике называются предложения, не связанные между собой союзами или междометиями.

фигурами на полотне. Эта женщина (или мужчина) с силой рисует что-то на песке на небольшом пространстве между фигурами» [43, с. 100]. Автор статьи также отмечает, что изображать тела с неопределенным полом было характерно для Сезанна как в ранних работах («Купальщики на отдыхе», 1875–1877), так и в более зрелых картинах («Большое купание», 1900–1906). Оказалось, что этот подход, зародившийся еще в 1995 г., останется актуальным до конца 2000-х годов.

Являются ли границы прошлого и в самом деле размытыми, или они только кажутся нам такими? Наша близорукость в отношении прошлого напрямую связана с тем, что мы не имеем к нему прямого доступа и вынуждены воспринимать его через другие руки, через множество текстов, сложно взаимосвязанных между собой нитями преемственности и противостояния. В эти тексты неизбежно вкрадываются ошибки переписчика, неточности пересказчика или намеренная ложь политика.

«Исторические данные ненадежны. Даже при отсутствии социального давления люди охотно врут относительно того, что они думают», – пишет Гринблатт [62, с. 22]. Историки различных направлений довольно часто отмечают, что обычно история пишется победителями, и это означает, что сохраняется совсем не подлинная история, а та особая история, которая интересна, выгодна составителю. Изучение коллекций семьи Хэллоу позволяет расширить это наблюдение. Ведь именно на примере коллекционирования становится заметно, что сохраняется совсем не то, что сохраняют, а это означает, что история, прежде чем дойти до нас, преломляется дважды: «Коллекции живых видов, собранные в XIX в., подвергались значительным опасностям. В то время еще не существовало надежных техник сохранения видов. До нас дошли совсем не те экземпляры, которые сохранялись с особой тщательностью. Мягкие ткани подверглись гниению. Зубы, кости, клювы и раковины, напротив, пережили века. Лягушки и гусеницы могли быть законсервированы только в спиртовом растворе, который мог постепенно испариться. Хранение стеклянных емкостей всегда вызывает сложности, особенно когда речь идет об их перевозке... Птицы и насекомые засушивались легко, и их удобнее было перевозить в коробках, ящиках, на полках. Но даже хорошо забальзамированные животные часто меняли свой внешний вид. Взятые из своей естественной среды они уже никогда не станут прежними. У птиц и млекопитающих меняется цвет глаз, их выражение, скелет, и они уже

значительно отличаются от живых особей того же вида» [132, с. 110]. Несмотря на то, что эти выводы сделаны на основе изучения частной коллекции, они же касаются и коллективного государственного коллекционирования в музеях, несмотря на лучшие условия архивирования.

Именно этот безусловный факт намеренной или естественной недостоверности архивного документа, музейного экспоната, предмета из коллекции и заставляет задуматься, а нет ли иного места или опыта, позволяющего оказаться ближе к подлинной неискаженной истории. В XIX в. многие поэты и историки (среди которых был и лорд Байрон) считали, что путешествия по историческим местам позволяют соприкоснуться с историей без посредников. Благодаря происшедшей в 1815 г. последней битве Наполеона поле Ватерлоо как раз оказалось подходящим местом для туристического паломничества.

Популярность этого места действительно превзошла все ожидания. Туда отправлялись наиболее видные поэты, художники, литераторы современности, почитатели таланта Наполеона и его ярые противники. Казалось, что это место еще дышит битвой, земля не зарубцевалась от ран, еще были свежи могилы убитых, распаханное войной поле даже не заросло травой, многие находили здесь пули, останки тел, личные предметы. Воображение с легкостью воссоздавало недавно произошедшие здесь события. Однако что на самом деле стоит за этими туристическими вылазками, пытается разобраться историк из университета в Пенсильвании С. Семмель [113].

Хотя опыт непосредственного видения чрезвычайно высоко ценился любителями истории XIX в., многих из них постигало глубокое разочарование. Только в первые недели после битвы поля Ватерлоо еще дышали свершившимся поражением великого полководца, но слишком быстро рубцы земли стали затягиваться, а память стираться. И тогда оказалось, что необходимо воздвигнуть монумент, который хотя и опосредованно, но смог бы продлить человеческую память еще на какое-то время. Иными словами, потребность в музейном сооружении возникает и здесь, в этом подлинном месте, почти сразу после того, как свершилась история [113, с. 20].

О недостатках музейной экспозиции мы уже знаем. Они настолько неисправимы, что с ними уже приходится считаться. Любой музей имеет своего создателя. И хотя далеко не всегда бывает

так, что музейная экспозиция воспринимается строго по замыслу своего основателя¹, роль собирателя огромна, когда решается вопрос, что именно считать «предметом», достаточно полно хранящим историческую память. Ни в музее, ни на экскурсии невозможно обойтись без того, что сами «новые историки» обозначили как «патину», придавая этому слову более широкий смысл, чем это принято в истории искусства. «Патиной» в «новом историзме» считается любое опосредованное вмешательство в исторический познавательный процесс, одновременно и сохраняющее, и искажающее прошлое. Познание прошлого обходным путем невозможно. Допустимы лишь специальные процедуры, позволяющие отличить подлинное потемнение от искусственного.

Р. Старн в отдельной статье [120] рассматривает этот вопрос, выделяя основные патины, в числе которых истинная и ложная. Видимое воздействие времени одновременно позволяет оценить, насколько предмет древний (в случае Старна – картина), а также открывает богатые возможности для фальсификации и обмана, поскольку, как показывают обильно приводимые Старном примеры, живописная патина с легкостью может быть имитирована. В результате за древнее полотно мы принимаем подделку. Известны многие итальянские художники, прославившиеся именно своими подделками.

Для того чтобы отделить семена от плевел, Семмелю придется ставить не вполне типичный эксперимент, добиться того, чтобы кто-нибудь заговорил об истории, еще не написанной, гипотетической. Для этого Семмель собирает отдельные свидетельства, в которых говорилось бы о великом поражении Наполеона при Ватерлоо сразу после самой битвы. Нужные записи были сделаны в тот момент, когда официальная историография грандиозного события еще не была сформирована. В. Скотт (*Walter Scott*), лорд Байрон (*George Gordon Byron*), П. Шелли (*Percy Bysshe Shelley*) лишь предполагают, каким образом это событие будет запечатлено в истории. А ведь именно такой срез и является наиболее ценным для «новоисторического» исследователя, поскольку эти «предположения» как раз и содержат в себе наиболее подлинные ментальные конструкции.

¹ Например, Музей Наполеона Сейнсбери по замыслу своего владельца должен был прославлять великий гений Наполеона, но многие приходили туда, чтобы посмотреть на «трофеи» победителей, вовсе не считая Наполеона гением.

Пытаясь предвосхитить собственное видение современной истории, писатели и поэты косвенным образом воспроизводили свои представления о том, каким образом виделась им наиболее вероятная «патина времени». И оказалось, что только один образец может быть взят за основу, та самая перспектива, через которую они воспринимали античное прошлое. «Желание взглянуть на Наполеона как на фигуру, пропорциональную таланту Гомера, заставляет смотреть и на его поражение с определенного расстояния, с точки зрения исторической перспективы... Таким образом, он удалялся на ту же самую дистанцию, что и сам Гомер» [113, с. 18].

Опыт изучения и восхищения Античностью существенно повлиял на саму категорию «историчности». Античность дошла до любителей истории эпохи романтизма уже плохо сохранившейся, от нее остались лишь незначительные фрагменты, которые и стали в умах интеллектуальной элиты этого времени символом всего древнего, исторического и настоящего. Культ Античности привел к развитию эстетики фрагментарности в эпоху романтизма. И мы уже знаем об этом из предыдущего параграфа, в котором описывалась техника «меланхолического» созерцания, которая была включена в методологию самого «нового историзма». Меланхолические мотивы пронизывали всю романтическую культуру от литературы («Тиндерское аббатство» Вордсворта) до живописи. Стилистика фрагментарности проникала и в бытовую жизнь. Семмель, в частности, описывает курьезный случай с маркизом Энглси (*Henry William Paget, 1st Marquess of Anglesey*), который еще при своей жизни приказал соорудить памятник для своей ноги, потерянной во время битвы при Ватерлоо [113].

Эстетика фрагментарности¹ – особая концепция, выходящая за пределы искусствоведения в область историографии, в которой отдельным эпизодам, осколкам, руинам, черепкам отводится роль более значительная, чем целым, хорошо сохранившимся предметам искусства. Данная эстетика основана на предположении, что чем больше разрушений время оставляет на предмете, тем более древним он является, и в этом случае его ценность уже не определяется тем фактическим местом, которое он занимает. Его можно отыскать в запасниках, откопать на значительной глубине, в мусорной куче. Вынесенный на яркий свет музейного или архивного про-

¹ В этом параграфе эстетика фрагментарности рассматривается как историческое явление, тогда как в параграфе 4.1 она была изучена с точки зрения методологии самого «нового историзма».

странства этот предмет будет свидетельствовать о давних великих временах и окажется влиятельнее самого себя в прошлом. Лорд Байрон когда-то пытался объяснить леди Блессингтон будущее значение повергнутой статуи Наполеона, сравнивая этот монумент со статуей Аменхотепа III, которая стала оказывать гораздо более сильное впечатление на людей именно будучи покалеченной [113].

Эксперимент, таким образом, осуществлен, и он указывает на довольно странные вещи: когда люди оказываются близки истории, настолько, что можно потрогать ее рукой, они желают ее отдалить, отодвинуть на то расстояние, на котором у них начинает работать историческое мышление. В данном случае это расстояние, отделяющее XIX в. от Античности. А значит, об опыте непосредственного восприятия не может быть и речи, каким соблазнительным он бы ни казался историкам и самим современникам великих исторических событий.

Воспринимая все разрушенное как подлинное, многие современники битвы старались посетить место сражения и непременно вернуться домой с каким-то фрагментом недавней баталии. «Турризм и коллекционирование шли рука об руку. Сатирический поэт И.С. Баррет в 1816 г. отмечал, “теперь каждый возвращается из заграницы опариженный и оватерлоенный”. Он также упоминал историю одного джентльмена, привезшего с собой настоящий палец, который ему удалось сохранить в бутылке с джином. Ради того чтобы привезти с собой хоть какую-нибудь реликвию, путешественники готовы были делать любые крюки. Среди находок Дж. Скотта была 12-миллиметровая английская пуля... Он сообщил в письме Хайдону о своем намерении привезти эту и другие находки домой. Желание обрести подлинные предметы стало приобретать дикий размах» [113].

И конечно, наряду с подлинными вещами стали появляться поделки и подделки. Мы совершили путешествие в область методологии исторического познания и вернулись к первоначальной точке отсчета. Желание почувствовать себя сопричастным истории вынуждает нас отодвигать историю в далекое прошлое. Подлинные вещи, предметы, которые «говорили бы сами за себя», оказываются фальшивыми, потому что сам по себе процесс фальсификации и есть часть вполне законного процесса историзации, без которого, как выясняется, слишком сильно слепит глаза.

И последний аспект поставленного эксперимента. Чаше всего историки жалуются на недостаток свидетельств и фактов, но воз-

можно и совершенно обратная ситуация, когда огромное количество литературных и художественных реминисценций буквально затмевает собой историю. Об этом писали и В. Скотт в 1815 г., и Д. Россетти (*Dante Gabriel Rossetti*) через 30 лет после В. Скотта [113, с. 29]. Таким образом, в осмыслении патины времени наблюдается новый поворот, если посчитать, что иногда патина становится слишком вязкой, литературно и культурно нагруженной. В этом смысле, хотя это и звучит немного нелепо, богатые литературные ассоциации начинают оказывать историку дурную службу.

«Новые историки» так и не предлагают готового рецепта постижения истории, с точными мерами всех ингредиентов и установленной пропорцией. Они лишь позволяют балансировать между «более» или «менее», заставляют нас полагаться на удачу, ну и конечно, на наши собственные эвристические способности, умение вовремя задавать правильные вопросы и находить на них ответы.

4.3. Трудно ли писать историю?

Известные писатели, уже почувствовавшие, что способны воздействовать на своего читателя благодаря уму и таланту, нередко испытывали соблазн перейти к историческому описанию, частично оттого, что не видели разницы между литературой и историей, а иногда и оттого, что слишком хорошо понимали лукавство своих собратьев по перу – историков, отлично чувствовали риторические швы, соединяющие противоречия, несообразности, так называемые тонкие места исторического текста.

Вопрос о правомерности подобной интеллектуальной экспансии (хотя, конечно, исторический роман – жанр уже не новый и давно состоявшийся) сам по себе важен и интересен, так же как и обратный ему – о законности рассмотрения исторического документа или текста с точки зрения заложенной в нем риторики. Но на правах гипотезы позволим себе здесь допустить, что вопрос этот решен положительно или, к примеру, что автора предполагаемого исторического романа мало интересуют этические последствия подобного «поступка». Остановимся здесь лишь на рассмотрении единственного аспекта, слишком часто упускаемого в общетеоретических дискуссиях, каким же образом написание истории автором-романистом возможно, каким образом исторический роман на самом деле пишется.

Было бы нелепо, если бы мы коснулись этой темы, не обращая внимания на каноническую, и нисколько от этого не менее интересную, фигуру Вальтера Скотта и на его известный роман «Антиквариар» (*The antiquary*, 1816). Примеры подобного обращения можно найти и в «новом историзме» [69].

Читатель не может не заметить парадокса, делающего В. Скотта старательным учеником, одновременно подтрунивающим над своим учителем. Удивительным образом в нем уживаются и живой интерес к историческому исследованию, и нескрываемая ирония над тем, как это исследование на самом деле проводится. Живой и острый ум позволяет Скотту делать важные наблюдения, с которыми он охотно поделился с читателем, высмеивая антиквариария Олдбока в момент изложения исторической истины о том, что буквы ADLL без большой натяжки означают «Agricola Dicavit Libens Lubens». Вкладывая разоблачительную речь в уста хоть и необыкновенного, но все же нищего, Скотт завершает свой аккорд, над которым читатель, не сдерживаясь, будет еще некоторое время потешаться.

Но что означает эта вольность, как не пытлиное вопрошание самого автора романа относительно того, что есть современное ему историческое знание и кто такой современный историк. «Новоисторический» взгляд на В. Скотта, конечно, подразумевает, что, в первую очередь, следовало бы выяснить, каких именно историков имел в виду автор известных исторических романов, когда погружался в свою творческую стихию.

Аргументы здесь остаются те же самые, что были рассмотрены в предыдущих главах. У проблемы может быть множество различных сторон, но существенная только одна – субъективистская, которую некоторые отечественные авторы настоятельно советуют отличать от психологической, поскольку субъект «нового историзма» якобы безжизненный [30]. Не будем здесь обострять вопрос, подходящий, скорее, для детективного сериала, кто жив, а кто, пожалуй, мертв, а посмотрим, что это за субъект, кажущийся В. Скотту характерным персонажем, а Майку Гуду, автору «новоисторической» статьи об «Антиквариарии», – ключом к разгадке В. Скотта.

В романе представлено два типа историков. Первый – грубый, негалантный Олдбок, более напоминающий сэру Артуру юриста-придиру, крючкотвора. А второй – сам сэр Артур, имеющий весьма романтический взгляд на прошлое. Несмотря на видимое

различие между двумя персонажами в их происхождении, образовании и образе мыслей, оба они описаны Скоттом, скорее всего, для того, чтобы немного высмеять антикварию как социальную группу. Ведь именно к ней и сэр Артур, и Олдбок относятся. Выставляя антикварию в нелепом виде, Скотт, скорее всего, высмеивает известного историка Э. Бёрка (*Edmund Burke*), критическое отношение к которому он перенял у Т. Пейна (*Thomas Paine*), читая его труды. Многие называли историцизм Бёрка сентиментальным, призванным восхвалять рыцарское прошлое вопреки фактам и доводам рассудка [69].

Скотт, конечно, мог узнать о Бёрке и из других источников, для своей эпохи эта фигура весьма заметная, но на текстуальную близость с Пейном Гуда наталкивает описание кабинета Олдбока, сделанное в манере, весьма напоминающей стилистику Пейна: «С одной стороны комната была полностью заставлена книжными шкафами, слишком маленькими для того количества книг, которое в них держали. Книги стояли в несколько рядов. Часть из них лежала на полу, на столах посередине, в беспорядке расположенных карт, бюстов, пергаментов, бумаг, фрагментов старых доспехов, мечей, ножей, щитов... Пол, стол и кресло были заставлены той же рухлядью, среди которой невозможно было что-либо найти, равно как и извлечь из нее какую-либо пользу» [69, с. 64]. Единый для двух авторов метафорический ряд вводит нас в пространство пыли, беспорядка, нагромождения предметов и бессмысленного интерьера.

Чтобы удерживать внимание, М. Гуду приходится недвусмысленно раскрывать тему сексуальности, представленную в «Антикварии» достаточно сдержанно. Удачным подспорьем оказываются эротические сюжеты конца XVIII – начала XIX в., к числу которых следует отнести светские перформансы леди Гамильтон (*Lady Emma Hamilton*) и карикатуры Т. Роулэндсона (*Thomas Rowlandson*).

История с леди Гамильтон – хороший пример, иллюстрирующий сексуальную пассивность антикварию (лорда Гамильтона, вероятного прототипа Олдбока). В профиле своей жены Эммы сэр Вильям видел старинные монеты, ее тело было для него воплощением живой античности. При этом свои чувства леди Гамильтон могла отдать лишь молодому герою адмиралу Нельсону (*Horatio Nelson*). Таким образом, один из треугольников романа: антикварий Олдбок – «прекрасный враг» Елизабет – офицер Ловел – повторяет другой, хорошо известный читателям начала XIX в.: сэр Вильям –

леди Гамильтон – адмирал Нельсон. Уже через несколько лет после смерти сэра Вильяма, в 1811 г., Т. Роулэндсон изобразил этот треугольник в своей карикатуре «Modern antiques», надсмехаясь не столько над противозаконными действиями любовников, сколько над Антикварием, жалким на фоне их эротических занятий [69].

Нас не должно сильно удивлять, что в связи с В. Скоттом разговор заходит именно о сексуальности. Кажется, и для «новых историков», и для многих других современных исследователей литературы сексуальность становится универсальной отмычкой к решению самых разных вопросов. Важно же, в данном случае, что Гуд рассматривает проблему социального статуса исторического исследования в хронологически узкий исторический период, причем четко выделяет эту постановку вопроса на фоне других, смежных¹.

Предполагается, что если читатель романа способен оценить закрученность сюжета, необычность описаний, точность в изображении характеров, то будет в выигрышном положении перед тем другим, для которого роман окажется скучным и затянутым. В «новом историзме» редко можно встретить отдельные работы или их фрагменты, описывающие стилистические тонкости, манеру. И если аналитические методы авторов направления всегда будут немного риторическими, то основной объект вопрошания – была и остается история во всех ее возможных проявлениях: память, забвение и т.д.

Роман «Антикварий», прежде всего, интересуется М. Гуда с точки зрения вопроса: каким образом В. Скотту в художественной форме удалось разъяснить своим читателям такой нелитературный концепт, как социальная функция изучения истории, а также прояснить образ самого историка в его исторической и идеальной форме. «Иными словами, необходимо было описать портрет человека, который, в глазах общества, мог бы писать должную историю» [69, с. 73]. Сама история в XVIII в. имела большое значение в обществе. Но отношение к историкам было крайне неоднозначным. В конце XVIII в. имели место попытки восстановить социальный статус историка, которому для этого, правда, необходимо было приобрести новое качество – мужественность. Писать историю и не участвовать в ней – вот один из парадоксов того века.

¹ Например, Гуд не касается актуального для конца XVIII в. вопроса, достаточно ли усилий одного индивида для написания полноценной истории.

Эта методологическая точность в выделении характерного для исторического периода проблемного поля и есть важная черта «нового историзма» и достойный плод научных разысканий, основанных на обширных общекультурных сведениях, собранных об эпохе. И здесь уже одинаково хорошо служат и эротические картинки, и политические карикатуры, и имевшие широкое хождение сплетни, и мемуары – любые источники, имеющие как можно более отдаленное отношение к официальной историографии. Такие источники «проговариваются» легче, особенно если исследователь будет вопрошать правильным образом.

Итак, мы установили, что хотя может показаться, что исследование Гуда устроено на дешевой привлекательности сексуальности и скандальности, в нем ставятся серьезные вопросы, которые позволяют нам увидеть историографию в ее хронологическом срезе – довольно непростая и существенная задача.

Помимо того что Гуд весьма правдоподобно раскрывает нам общие принципы общественного отношения к историческому исследованию на рубеже XVIII–XIX вв., он вглядывается в свой материал еще более пристально, берет лупу большей кратности для того, чтобы точнее определить роль «Антиквария» в дискуссиях того времени об истории. И приходит к выводу довольно парадоксальному. Ведь Скотт, как будто, начинает с критики знаменитой исторической концепции Бёрка (об этом говорилось выше), принимая в этом споре сторону Пейна. Но дальнейшее развитие событий романа подтверждает обратное: взгляды Бёрка, в подкорректированном виде, следовало бы поддержать. Таким образом, Скотт принимает на себя функцию восстановителя репутации историка, раскритикованного своими современниками. Ученый муж, открой он для себя прелести настоящей мужской жизни, супружество и войну, может вернуться к своим научным занятиям и продолжить писать историю.

«Благодаря фигуре Ловела, не имеющей отрицательных черт, подвергавшихся насмешкам, позиция Бёрка была восстановлена, компетентность историка увязывалась с сексуальной и чувственной активностью мужчины, оставляя за ним способность не только к научным изысканиям, но и к самой исторической деятельности» [71]. Роман, понятый таким образом, уже не просто отражает исторические дебаты, но и вписывается в них, отстаивая репутацию очерненного философа.

Описанный в романе конфликт между «мужественностью» и «ученостью» возник не в XVIII в., а гораздо раньше. В Средние века воины и монахи-ученые представляли собой различные классы людей, а их занятия пересекались только в отдельных случаях (в качестве примера можно привести клюнийских монахов, проповедовавших крестовые походы). Но описанная у В. Скотта особая форма этого конфликта была характерна именно для указанного исторического периода. Это и делает его роман особенно привлекательным для «новых историков».

4.4. Дискуссия о междисциплинарности

Определенный образ мыслей позволяет «новым историкам» объединяться со специалистами различных дисциплин. Мы видели, как к движению свободно примыкали историки, искусствоведы, археологи и религиоведы. Однако открытым остается вопрос (таким он остается и для самих «новых историков»), действительно ли междисциплинарное взаимодействие позволяет наращивать знание о культуре и истории, дает неплохой шанс преодолеть ошибки монодисциплинарности или же, напротив, приводит к эклектическому нагромождению несопоставимых между собой исследований.

Есть узкий круг вопросов, которые можно задавать каждой из упомянутых дисциплин. Эти вопросы хорошо известны. Они касаются положения женщины в обществе, сексуальной свободы, гендерных ролей, права на свою этническую, национальную идентичность и т.д. Иногда возникает ощущение, что подобная постановка вопроса не расширяет наши познавательные перспективы, а ограничивает их. Порой оказывается так, что методологические новинки, при всей их своевременности, несколько сужают кругозор.

Само понятие междисциплинарности хорошо известно и широко распространено. Однако если вдуматься, что подразумевает оно именно методологическую гибкость, а не множество объектов изучения, то придется признать, что подлинно междисциплинарные исследования встречаются не так уж часто. Это обстоятельство хорошо известно в современном науковедении. Вот что говорит по этому поводу Линда Хатчеон: «Со временем я пришла к выводу, что подлинная междисциплинарность – явление довольно редкое и трудно достижимое. Чаще за междисциплинарность выдается более доступная «дискурсивность». Можно говорить на двух различных языках, но нельзя одновременно оказаться в двух отдаленных друг

от друга местах. В связи с этим возникает и следующий вопрос. Если соло невозможно, то, пожалуй, стоит обратить внимание на совместный танец. Пусть это будет танго для двоих или еще какой-нибудь номер. Феминистические исследования дают нам хорошие примеры подобного взаимодействия. Многие предостерегают против такого опыта, подразумевая здесь угрозу институционализации знания, а также индивидуализму ученого, работающего в рамках гуманитарных дисциплин, для которого знание является не только процессом, но и продуктом. На самом деле следует помнить о всех сложностях, сопровождающих совместные проекты. Ведь и в танце всегда кто-то ведет, а кто-то послушно следует партнеру. Так ли необходимо это лишение своего права на свободу исследования?» [78].

Описанные Л. Хатчеон танцевальные номера действительно нередко подменяют исследования, которые опирались бы на различные по типу методологии. И так и нет однозначного ответа, хороши или плохи коллективные попытки связать разные взгляды на вещи в единый, мощный световой пучок. Сборники и журналы, на страницах которых собраны работы авторов различной дисциплинарной принадлежности, на первый взгляд, весьма и весьма привлекательны, неумоимельны для редактора, читателя и рецензента. К тому же отвечают современным правилам ведения научных исследований, распространенным в технических и естественно-научных областях.

Однако командный тип работы для решения сложных естественно-научных задач себя оправдал, а вот сказать подобное в отношении гуманитарных дисциплин удастся редко. Специалисты «нового историзма» получили различное образование, работают в разных предметных областях, и главное, они имеют различные цели, часто несопоставимые между собой даже по какому-нибудь одному параметру. Что же касается единого метода, якобы объединяющего «новых историков», или точнее, единой неуверенности в этом самом методе, то теперь уже омут достаточно взбаламучен. Каждый настолько в нем неуверен, что дальнейшее доказательство его непригодности лишается смысла, что и делает саму «междисциплинарность» новинкой вчерашнего дня и позволяет каждому снова вернуться в свои узкодисциплинарные рамки, вновь и вновь решать неразрешимые вопросы своей предметной области.

Безусловным достижением «нового историзма» можно считать глубокую осведомленность представителей направления относительно литературоведческого метода, которым они широко пользуются.

А также тех неоспоримых возможностей, которые раскрываются благодаря использованию этого метода при рассмотрении других культурных областей. Рассмотреть с точки зрения текстуальности, оказывается, можно и музыку, и политику, и науку, и даже археологию. Однако стоит ли подобную, пусть и крайне позитивную, экспансию метода считать междисциплинарностью, которая, в свою очередь, подразумевает, как минимум, диалог одного метода и другого, а как максимум – их додекафонное пение?

Если сопоставить значение литературоведческой и исторической методологии в современных исследованиях, то придется признать, что первая доминирует над второй. Сила факта оказалась слабее силы интерпретации, и именно этот «факт» следовало бы подчеркнуть в нашем анализе общедисциплинарных сдвигов, произошедших в связи с появлением «нового историзма». Пожалуй, говорить о существовании других методов (музыкального, археологического исследования) здесь не имеет смысла, поскольку все они в той или иной мере подчинялись двум вышеперечисленным.

В итоге можно сказать, что в «новоисторических» исследованиях в равной мере просматривается и междисциплинарность, и ее отсутствие. Ясно лишь одно, что вопрос о дисциплинарной принадлежности «нового историзма» подлежит дальнейшему анализу.

Глава 5

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

Наука интересует «новых историков», с одной стороны, как важнейшая часть культуры, важнейшая сторона деятельности человека, запечатленная в научных трактатах, формулах, патентах и т.д., а с другой – особое внимание привлекает то, что именно наука от Ф. Бэкона до физиков, конструирующих атомную бомбу, несет на себе клеймо «объективности». Ведь у «нового историзма» к этому понятию уже свое сложившееся отношение, авторам направления вполне известны причины его возникновения и приемы, позволяющие определить, что же оно маскирует.

Понятие «объективности» так плотно вплетено в науку, возможно, потому, что исследователи различных дисциплин довольно поздно начинают осознавать, прощупывать и измерять дистанцию между собой и исследуемым объектом. Возможно, первыми дисциплинами, внутри которых эта работа была проделана, были именно гуманитарные: история, антропология, философия и литературоведение.

Идея непреодолимого разрыва с прошлым была осознана американскими литературоведами еще в середине XX в. «Именно в рамках исследований XVI в. под влиянием антропологии появилась идея, будто эта культурная эпоха безнадежно от нас отрезана, отделена, и бесконечная контекстуализация нисколько не способствует развитию воображения» [73, с. 11–12].

Эта идея Ричарда Хальперна подтверждает, что «антропологическая» по сути идея «отрезанности» от прошлого была характерна еще для «новых критиков», и «новые историки» ее лишь переняли и расширили. Значительным следствием развития этой идеи был устойчивый интерес к научным исследованиям XVIII–XIX вв.

Ведь новый взгляд настолько важен, что требует пересмотра концепций, которые мы привыкли считать классическими и воспринимать некритически.

За все время существования журнала было опубликовано около 50 статей, посвященных культурологической истории науки, и в 1992 г. был выпущен специальный 40-й выпуск целиком об этом. Можно сказать, что для «новых историков» сложился короткий ряд излюбленных дисциплин, о которых они рассказывают периодически: антропология, медицина, физика и биология, математика. Медицина еще и потому, что она неразрывно связана с общим художественным процессом раннего Нового времени (речь, в основном, идет о живописи), другие дисциплины – потому что они, прежде всего, и ассоциируются в нашем сознании с понятием «наука» в той мере, в какой мы ей доверяем и зависим от нее.

5.1. Диаграммы Ричарда Фейнмана: Граница между искусством и псевдонаукой

Внимание к фигуре известного американского физика Ричарда Фейнмана (*Richard Phillips Feynman*) в данном случае само заслуживает комментариев. Фейнман был не просто физиком, основателем квантовой электродинамики, лауреатом Нобелевской премии по физике 1965 г., он был еще и популяризатором науки. Его «Фейнмановские лекции по физике» (*The Feynman lectures on physics*) оказали огромное влияние на многие поколения студентов-физиков в разных странах мира, в том числе и в России. Кроме того что Фейнман известен как популяризатор науки (в 1986 г. он в прямом эфире по телевидению при помощи пассатижей и стакана со льдом разъяснил причины падения американского космического корабля «Челленджер»), он еще проявил себя и как активный борец против псевдонаучных исследований, которые отличить от настоящих, по его мнению, могли бы только специалисты.

Проблема современного научного знания заключается в том, что само знание усложняется, а экспертная прослойка, которая могла бы оценивать научные достижения, все более истончается. Фейнман в своей речи в Калифорнийском технологическом институте назвал современные псевдонаучные симптомы «культом карго» (*cargo cult – поклонение грузу*), имея в виду меланезийский культ, получивший широкое распространение после Второй мировой войны. Во время войны американцы десантировались на острова

Меланезии одежду, консервы, палатки и оружие. Местные жители думали, что эти чудесные вещи посылали им предки, а белые люди лишь взяли контроль над тем, что по праву принадлежит меланезийцам. Поэтому они совершали особые религиозные обряды, строили аэродромы, самолеты из дерева в натуральную величину, мастерили деревянные наушники, чтобы вернуть себе изумительные грузы.

Фейнман описывал этот культ не случайно, намекая на то, что и среди ученых много таких, которые лишь воспроизводят некий ритуал, выполняют одни только формальные требования, предъявляемые к научному исследованию, но на самом деле не решают никаких научных проблем. Оказывается, расстояние между проблемой, поднятой Фейнманом, и той, о которой рассказывает Дэвид Кайзер, автор статьи в «Representations» о Фейнмане, очень небольшое [81]. Как нам отличить «ненастоящую», поддельную науку, от того, что называется искусством, условностью в науке, игрой мышления, воображением, свободой, без которых научное открытие редко совершается. Ведь сам Фейнман, как рассказывают его друзья и коллеги, обожал, например, взламывать сейфы.

Большую науковедческую проблему представляет оценка диаграмм Фейнмана, которые, с одной стороны, призваны были упростить восприятие сложных моментов квантовой теории, а с другой – сами были во многом условны и символичны. Нильс Бор (*Niels Henrik David Bohr*), например, на конференции в Поконо 1948 г. вообще заявил о том, что они слишком грубы и не отражают реальных физических процессов [81]. Так что же такое эти диаграммы: неотъемлемая часть научной теории или произведение искусства, которое можно рассматривать наравне с деревянными наушниками, вырезаемыми меланезийцами?

Поднятая Дэвидом Кайзером проблематика в российской академической традиции рассматривается в рамках науковедческой рубрики «наука и искусство». В американском науковедении она изучается вместе с другими, близкими по содержанию рубриками, такими, как «наука как искусство», «искусство как наука», «интерпретация в науке», «изображения в науке». Среди наиболее видных исследователей необходимо назвать английского социолога Стефана Вулгара и французского социолога Бруно Латура, которые в 1979 г. написали совместный труд «Жизнь в лаборатории: Социальная конструкция научного факта» [86].

Свое знаменитое исследование Вулгар и Бруно провели в Салк-институте (*Salk institute, California*) в то время, когда там работал Нобелевский лауреат 1977 г. Роджер Гиллемин (*Roger Guillemin*). Это исследование интересно Дэвиду Кайзеру многим. Но особое внимание привлекает то, что авторы социологического исследования биомедицинскую лабораторную рутину рассматривают при помощи антропологического метода. Карьера ученого была изучена с точки зрения ее отдельных составляющих: лабораторные опыты, подготовка публикаций, приобретение престижа, вознаграждение за труд. Необходимо было понять, каким образом исследователь, проходя все ступени карьерной лестницы, приходит к конструированию научного факта. Однако антропологический подход только этим не исчерпывался.

Авторы исследования намеренно старались посмотреть на проводимые работы глазами людей, которые не имеют ни малейшего представления о научном исследовании – практика, введенная в оборот еще К. Гирцем, предполагавшим, что антрополог должен осознавать принципиальный разрыв между собой и людьми, которые выступают в качестве объектов его наблюдения. Именно этот ракурс позволил Вулгару и Бруно понять, что основной целью научной деятельности является публикация. А всевозможное оборудование, имеющееся в лаборатории (тесты для биопроб, масс-спектрометр), лишь служит оправданию этой цели.

Хотя Вулгар и Бруно не были «новыми историками», они опираются на важный аспект «новоисторической теории», а именно – литературную природу химического открытия. На примере открытия пептида TRF гормона они поясняют, что функционирование концепта этого гормона по своей природе фикционально. Это означает, что покауда научное знание еще не стало общедоступным, TRF имеет значение только внутри определенной научной группы, для других же он остается неизвестным белым порошком. Его фикциональность также заключается в том, что он определяется не путем логического описания (казалось бы, именно так должны описываться феномены в науке), а посредством отражения возможных контраргументов. Когда дискуссия смолкнет, существование нового гормона можно считать доказанным.

Антропологический взгляд на работу научной лаборатории позволил Вулгару и Бруно отметить еще один важный момент, который вряд ли был бы ими зафиксирован, будь они рядовыми учеными проекта. Оказывается, основная аналитическая работа прово-

дится не в лабораториях, на экспериментальных установках, а основные выводы делаются не с помощью масс-спектрометра, а путем анализа уже написанных научных статей, что еще раз подтверждает языковую, а не экспериментальную природу современной науки, даже если речь идет о такой науке, как биохимия. При этом само наличие дорогой аппаратуры крайне необходимо, потому что оно является еще и признаком определенного социального статуса, дающего право заниматься именно этими исследованиями и позволяющего, по мнению Вулгара и Бруно, на три четверти сократить число конкурентов. Эта точная и экспериментальная наука не может быть понята вне своей языковой и культурной данности.

Помимо Вулгара и Бруно проблемой социального и культурного аспектов современной науки занимались также такие видные авторы, как М. Линч, А. Блум, П. Тейлор и т.д. М. Линч, например, посвятил одно из своих исследований модной теме эстетики цифровых изображений в современной астрономии [92]. Проблема границы искусства и науки постоянно обсуждается на страницах таких журналов, как «Наука как культура» (*Science as culture*), «Эндевор» (*Endeavour*), «Леонардо» (*Leonardo*).

Одной из частных проблем исследования социальных, культурных аспектов науки является «реализм и репрезентация», их противопоставление и соотношение. О «репрезентации» речь в этой книге шла уже неоднократно. Напомним здесь, что исследователи, причислявшие себя к «новому историзму», под «репрезентацией» подразумевали сконструированное отображение, возможно, имеющее отношение к реальности, но представляющее ее особым, структурированным образом в определенных целях. Понятая таким образом «репрезентация» имела особую ценность в рамках «нового историзма».

Когда же мы начинаем рассматривать пару «репрезентация/реализм», то оказывается, что реализм не столько противопоставляется репрезентации, сколько является ее частным случаем. Под «реализмом» в данном случае мы будем подразумевать такую форму «репрезентации», которая одному из субъектов или множеству субъектов кажется наиболее приближенной к реальности. Как видно из этого определения, с появлением нового термина проблема фикциональности, столь важная для «нового историзма», не исчезает, а лишь усугубляется. Ведь данному субъекту предметы и явления реалистичными лишь кажутся, соответствуют его представлениям о «реалистичности», а не самому реальному миру.

Если реализм – явление нашего сознания, а не свойство, присущее самому предмету, то каким же образом происходит присвоение этого качества предметам. Ответ на этот вопрос Кайзер ищет вовсе не в физической, а в искусствоведческой теории, опираясь на мнение таких крупных специалистов в области теории эстетики, как Эрнст Гомбрих, Нельсон Гудмен, Джоел Снайдер [81]. Наиболее подробно проблема реализма в искусстве рассмотрена у Н. Гудмена в книге «Языки искусства: Подход к теории символов» [70], а также в другой его книге «Пути создания мира». Реалистическими Гудмен считал такие изображения, которые опираются на традицию, наиболее часто встречающиеся формы ассоциативного мышления. Он называл их менее информативными по сравнению с репрезентацией, противопоставляя таким образом реалистический традиционализм информативной репрезентации. Концепция Гудмена многим может показаться спорной, но именно она лежит в основе размышлений Кайзера о природе фейнмановских диаграмм. Эти диаграммы целесообразно для начала рассмотреть именно с точки зрения традиции изображения физических явлений в квантовой теории.

28-летний Ричард Фейнман выступил в 1948 г. на конференции в Пенсильвании, предложив новый термин «ренормализация» и новый метод теории возмущений. Фриман Дайсон (*Freeman Dyson*) в свою очередь сформулировал правила Фейнмана. Йозеф Йоч и Фриц Рорлич в учебнике 1955 г. описали математические соответствия диаграммам Фейнмана, которые очень быстро стали популярны в учебниках 50–60-х годов. Именно их Ричард Маток в 1967 г. сравнивает с картой, без которой путешествие по современным физическим джунглям становится даже опасным [81].

С появлением ускорителей после войны, однако, ситуация изменилась. Оказалось, что диаграммы Фейнмана–Дайсона применимы только в случаях, если электромагнитное поле является слабым, и не описывают процессов, происходящих при более высоких энергиях. Американский физик Джеффри Чу (*Geoffrey Chew*) в 1961 г. назвал современную ему физическую теорию старым солдатом, который уже не может воевать, но и не умер. Чтобы покончить с квантовой теорией, Чу обрушился на диаграммы Фейнмана.

Однако история диаграмм сложилась непредсказуемым образом, в результате они не были отвергнуты. Физики лишь начали их использовать по-новому, без математического обоснования [81]. С точки зрения теории Гудмена, популярность диаграмм можно

было бы объяснить, доказав, что они воспроизводили традиционную иконографию физического описания. Оказалось, однако, что были и другие изобразительные модели, содержащие в себе привычный графический стиль, например «двойные диаграммы» Джона Полкинхорна (*John C. Polkinghorne*). Эту систему при желании можно было бы назвать еще «реалистичной», чем систему Фейнмана, поскольку она была построена на тех же принципах, что и изображение электрических кругов, изучаемых на самом начальном этапе физического образования. По сути, каждая из упомянутых систем визуального изображения имела свою изобразительную традицию. Так как же объяснить популярность именно фейнмановских диаграмм? Оказывается, что одной искусствоведческой теории для решения этого вопроса недостаточно.

В послевоенное время благодаря двум методам (ядерной эмульсии и пузырьковой камеры) стали появляться первые фотографии, фиксирующие огромное количество «неучтенных» частиц в ускорителях того времени. Оказалось, что эти фотографии, тиражируемые в 60-х годах весьма и весьма широко, буквально напоминали изображения на диаграммах Фейнмана. Это сходство заметили, и диаграммы Фейнмана стали ассоциироваться уже не с традиционной символикой, а с «реальными» физическими процессами. Вот о каком реализме здесь идет речь.

Кайзер находит свое объяснение популярности диаграмм Фейнмана. Но это не столько опровергает, сколько подтверждает важную идею Гудмена об особой, аналитической функции зрения в нашем конструировании «реалистичности». Это исследование, в частности, показывает, какую значительную роль в «новом реализме» играет искусствоведческая теория.

5.2. Таксономия Линнея

Лисбет Кернер (в 1994 г. еще помощник преподавателя, а теперь уже младший преподаватель на факультете истории науки Гарвардского университета) посвятила много лет изучению личности К. Линнея, известного шведского биолога XVIII в. [83]. Личность этого ученого весьма примечательна. Он прославился своими трудами «Виды растений» (*Species plantarum*, 1753), «Система природы» (*Systema naturae*, 1758), написанными уже в конце длительной творческой карьеры, в которых была представлена классификация растений по видам и типам, а также по месту произрастания.

Однако, как показывает исследование Л. Кернер, таксономия не была его основной целью, а, скорее, явилась тем, что называют побочным эффектом научной деятельности. Кернер открывает новые, практически неизвестные стороны жизни известного ученого.

Обычно в истории науки описываются лишь результаты научной деятельности, но реальные политические, психологические мотивы ускользают. Поиск латентных, скрытых сторон научной деятельности дает понимание реальной истории науки. Не нужно быть прогрессивным исследователем, чтобы заметить, что практическое применение часто находят именно побочные результаты научной деятельности. В случае с Линнеем речь пойдет, скорее, не о побочном эффекте и не о случайном открытии, а о последнем периоде его карьеры, когда его постигло глубокое разочарование в стремлении сделать родную страну богатой и процветающей.

Линнею было обещано успешное развитие его карьеры, поскольку он пользовался существенной поддержкой важных представителей партии «шляп», сторонников войны с Россией и экономического процветания Швеции. От Линнея, в свою очередь, требовалось разработать научные основы промышленного роста и развития страны. Сам Линней был сторонником протекционизма и так называемой концепции «замещения импорта». Иными словами, он считал, что невзгоды, в основном, проистекают от того, что страна закупает слишком много разорительных для нее импортных товаров [83].

В переводе на язык растений его экономические взгляды также имели свое выражение. Линней был глубоко убежден, что любое растение, в том числе и тропическое, можно было бы вырастить даже в самой северной стране, такой, например, как Швеция. В каком-то смысле теория Линнея подтвердилась. Ему и его ученикам действительно удалось несколько расширить ассортимент выращиваемых сельскохозяйственных растений. Так, в Швеции стали произрастать конский каштан, вишня, шведский клен, красная смородина, лиственница и жимолость.

Л. Кернер характеризует работу Линнея как «экономический шпионаж», поскольку своих многочисленных учеников (19 человек), или, как он называл их, «апостолов», он отправлял в те страны, которые производили какой-либо необходимый для Швеции товар: чай, кофе, сахар, шафран, корицу, имбирь и даже фарфор и т.д. В основном его интересовал наиболее важный в то время Кадис-Гауньчжоуский торговый маршрут между Испанией и Китаем.

Некоторые ученики были посланы в Россию для разведывательной деятельности, например Иоганн Петер Фальк (*Johan Peter Falck*).

По свидетельству Л. Кернер, Линней не доверял одним только экспериментам. Если какое-то растение не удавалось приживить, он объяснял это слабостью самого ростка или слишком резкой переменной климата. Он и его помощник Пер Кальм полагали, что растение следует пересаживать, постепенно меняя климат с южного на умеренный, а уже потом на более суровый, северный [83].

Самой заветной для Линнея мечтой было вырастить чай. Предвкушая удачу, он радовался, что таким образом удалось бы подорвать основной источник развития китайской экономики. Но вырастить чай было чрезвычайно трудно, даже ростки этого растения не удавалось довести в такую далекую страну. Также существенным Линней считал разведение тутового дерева. Здесь успехи были более значительными. Посаженная в 1756 г. плантация просуществовала вплоть до 1787 г. (почти 30 лет), пока тутовые деревья не замерзли. Так что какое-то количество безумно дорогого шведского шелка все же было произведено [83].

Поистине роковым для Линнея стало появление в 1749 г. исследования его ученика Пера Лёфлинга (*Pehr Löfving*). Этот талантливый молодой человек предположил, в отличие от своего учителя, что тропические растения не могут произрастать в северных районах ни при каких условиях. К холодным зимам могут приспособиться только виды, имеющие почки, а таковых у банановых, оливковых, фисташковых деревьев не было. Через несколько лет Лёфлинг умер в Южной Африке от тропической лихорадки. Линней был настолько потрясен его открытием, что одно время хотел совсем уйти на покой, больше не заниматься биологией. Но немного погодя занялся созданием своей таксономической (классификационной) системы, попытался написать наиболее полный каталог всех известных науке растений в соответствии с современным ему уровнем знаний [83].

Не только таблицы Линнея имели огромную научную ценность, но и сама его коллекция была самой полной в мире на тот период времени. После его смерти она перешла в собственность его сына, тоже Карла Линнея (*Carl von Linné*), а после смерти сына была перекуплена Джеймсом Эдвардом Смитом (*James Edward Smith*) и перевезена в Великобританию, где вскоре было открыто Лондонское Линнеевское общество (*Linnean society of London*) для хранения и изучения этой коллекции.

В этом исследовании Л. Кернер большое значение уделяет признанию экономических основ научных исследований Линнея. Таким образом, она показывает, что уже в XVIII в. наука в Европе не развивалась автономно, в отрыве от политических событий и экономических проблем. Ее финансирование основывалось на той важной экономической роли, которую она призвана была сыграть и которую она на самом деле сыграла, несмотря на ошибки, заблуждения и неудачи.

Автор статьи большое внимание также уделяет критике универсалистской методике научного объяснения, характерного для Линнея. Будучи потомком лютеранских священников в пятом поколении, Линней опирался на единую и стройную теологическую систему бытия. Свою концепцию акклиматизации он также мог изложить на языке Аристотеля, предполагая, что южные растения все же способны приспособиться к жизни в холодной стране. Этот принцип Линней рассматривал как переход из «потенциального» состояния в «актуальное». Л. Кернер полагала, что тяга к универсализму – существенный недостаток научной теории Линнея. Если учесть, в каком веке жил Линней, то в его универсализме нет ничего удивительного. Но важно отметить, что здесь проявляется общая неприязнь авторов «нового историзма» к общим суждениям и обобщениям.

Кернер также негативно оценивает экономические взгляды Линнея, что в истории науки не такое обычное явление. Она полагает, что протекционистские взгляды Линнея привели к изоляционизму шведской экономики, ее перемещению на маргинальные позиции. Она также уверена, что, недооценивая роль торговли, Линней делал из Швеции отсталую страну. Кажется, такое утверждение прозвучало бы более естественно в устах сторонника экономической системы Евросоюза, чем представителя «нового историзма» (единый рынок, единая валюта, расширение торгового пространства и т.д.). Очевидно, автору статьи такая экономическая позиция кажется более близкой, и это влияет на ее восприятие истории. Что же, нередко мы интересуемся историей только для того, чтобы подтвердить наши собственные взгляды или выразить свое мнение.

5.3. Миссионерское служение Ч. Дарвина

Каждый школьник в любой общеобразовательной школе мира ассоциирует имя Ч. Дарвина (*Charles Robert Darwin*) с классиче-

ской эволюционной биологией. Но очень немногие, даже среди профессиональных ученых, в том числе и профессиональных историков науки, знакомы с другими сторонами его весьма разнообразной деятельности. Как раз в этом пункте весьма эффективной в исследовательском отношении оказывается «новоисторическая» методология фрагментарности, фокусирующая внимание на деталях и частностях изучаемого объекта.

Кенон Шмит [112], принимаясь за анализ фигуры Ч. Дарвина, ставшего иконой для многих поколений как ученых-биологов, так и любителей естественной истории, прежде всего, как это и подбавляет автору «новоисторического» исследования, интересуется личностными мотивировками ученого. У такого подхода есть свои рациональные основания. Ведь даже обладая огромным багажом знаний, человек не лишается личных пристрастий и неприязни. Конечно, Дарвина интересовал самый широкий спектр явлений и предметов: от насекомых и более крупных животных до скальных пород и окаменелостей. Но давно замечено, что вся его теория была лишь основанием для нового понимания феномена человека. Так что это был за человек, каким образом личные вкусы ученого повлияли на понимание человека дикого и человека современного, цивилизованного, в какой мере научные взгляды Дарвина согласовывались с общей политикой колониализма, проводимой Великобританией в тот исторический момент? Вот на какие вопросы должны быть найдены ответы в публикации Шмита.

Хотя для людей XXI в. «классический» колониализм как будто уходит в прошлое, он тем не менее оставил яркий след в европейской культуре. Эта идеология повлияла на литературный стиль многих писателей, мышление политиков, научные теории, ставшие фундаментальными для многих поколений исследователей. Наряду с военными и коммерсантами в каждой исследовательской экспедиции оказывались орнитологи, биологи, археологи, которые должны были описывать новые земли со своей профессиональной точки зрения.

Дарвин отправился в свое кругосветное путешествие в 1831 г. Экспедиция, к которой он присоединился, помимо научных задач должна была решать и задачи военно-политического характера. В 1831 г. Англия, будучи самой великой колониальной страной, все еще стремилась расширить свои колониальные владения. Патагония для этого вполне подходила, поскольку была богата природными ресурсами и населена, как считали англичане, необра-

зованными, легко управляемыми дикарями. Можно было бы задать вопрос, почему они были в этом уверены, если еще так мало знали местное население, его обычаи, обряды, образ мыслей и характер верований, то, что после трудов Гердера стало принято называть «культурой» [112].

Когда «белые люди» отправлялись в дальние неизведанные страны, они уже имели в голове некие ментальные конструкции, которые позволяли им ожидать, что они увидят в результате долгого изнурительного путешествия. Роль Дарвина в составлении этих конструкций была не последней. Отправляясь в Южную Америку описывать флору и фауну нового региона, Дарвин держал в голове таксономическую таблицу Линнея, в которой ему предстояло заполнить недостающие ячейки. Первоначально Дарвин предполагал, что «дикие племена» займут промежуточное место между «цивилизованным» человеком и обезьяной. Ведь он считал, что они имеют дикую чувственность, как животные, и способны к обучению, как люди. Собственно генеральная цель миссионерских походов как раз и заключалась в том, чтобы воспитать, цивилизовать, развить скрытые задатки дикого человека [112]. Однако план осуществился не вполне.

Когда Дарвин спустился на южноамериканский берег, он увидел, что индейцы раздеты, несмотря на морской ветер и дикую жару, у них примитивные орудия труда и плохие лодки. Как оказалось позднее, они не способны понять, что огромный «Бигль», на котором команда искателей прибыла, вовсе не живое существо, а изделие человека. Самым неприятным для Дарвина оказалось даже не то, что индейцы не обладали нужным для любого европейца запасом знаний, а то, что они не желали обучаться. В статье Шмита говорится, что гуляя среди потухших вулканов и окаменевших останков гигантских ленивцев, Дарвин решил, что и у индейцев души вполне «окаменевшие» [112].

Дарвин нашел индейцев любопытными и интересными, наравне с попугаями и прочими чудесами Южной Африки, но ему было крайне неприятно разместить жителей этой земли на одном уровне с людьми. Он, скорее, готов был признать человеческими обезьян, чем индейцев. В «Происхождении видов путем естественного отбора, или Сохранении благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь» (*On the origin of species by means of natural selection, or The preservation of favoured races in the struggle of life, 1859*) он описывает некоторые «человеческие» качества, имеющиеся у отдель-

ных животных: храбрость, любовь, чувство общности, способность к эстетическому переживанию, рефлексия. Но он никогда не описывал подобных качеств у аборигенов Южной Америки [112].

Нельзя сказать, что у Дарвина было недостаточно опыта общения с индейцами. Как оказалось, на «Бигле» вместе с ним путешествовали несколько индейцев, проживших какое-то время в Англии. Некоторые из них оказались весьма способными и уже продемонстрировали свои успехи. Например, Джемми Баттон (*Jemmy Button*) неплохо знал английский язык, кое-что понимал в христианстве и успел заявить о себе как об английском денди (о нем периодически писали в британских газетах как об уникальном случае европеизации дикаря). Но, задает вопрос Шмит, какое это могло иметь значение для Дарвина, если ему необходимо было сформулировать свою теорию, и она должна была оставаться непротиворечивой [112].

Дарвин прибег к нескольким спекулятивным умозаключениям, чтобы окончательно убедить себя и других в ментальной неспособности нового вида. Точно так же он лишил этот вид своей «истории» и «памяти». Однако и сам он, по словам Шмита, предпочел бы лишиться памяти, чем снова и снова задумываться над тем, кто же перед ним, люди или животные. Известно ведь, что «дикари», как называл их Дарвин, имели для него первостепенное значение. Более того, после возвращения домой он уже не смог о них забыть. Однако в «Происхождении видов...», «Путешествии натуралиста вокруг света на корабле “Бигль”» (1839) он практически ничего о них не написал, намеренно избегая этой темы, ссылаясь на естественные ограничения человека, неспособного в одиночку охватить все вопросы, требующие досконального научного изучения. В общем реестре всего живого на земле жителям Южной Америки попросту не нашлось места [112].

Кажется, культурологический анализ Шмита ставит научное исследование в один ряд с творческой деятельностью, в которой человек выражает себя, не имея возможности опереться на основание более твердое, методологическое. Мир субъективен с точки зрения «нового историзма», об этом говорилось уже не раз. И наука, как часть этого мира, также отвечает личным целям ее движителей. Рассказать об этом на примере современной науки, теории которой пока еще в работе, можно, но сложнее, тогда как уже отжившие свой срок теории как будто созданы для этого. Кто теперь этот знаток всего живого и неживого, кумир и небожитель, как не

обычный высокомерный англичанин, который не может преодолеть в себе ненависть к птицам, издающим неумолкающие, однообразные и режущие слух крики.

Чтобы подчеркнуть влияние психологических мотивов на теорию Дарвина, Шмит сопоставляет ее с исследованиями американского орнитолога В. Хадсона (*William H. Hudson*), правда, это исследование было проведено намного позже, уже в конце XIX в., совершенно в другом социально-политическом контексте. Для Хадсона время, проведенное в Южной Америке, было счастливым, поэтому он и назвал свою книгу 1893 г. «Счастливые дни в Патагонии» (*Idle days in Patagonia*).

Интерес к личности исследователя характерен для «нового историзма», но не все представители направления строго придерживались этого принципа. Юрий Слёзкин, например, приводит исследование развития этнографии в России XVIII в. [115], где описывает ее на примере целой галереи авторов, таких как В.Н. Татищев, С.И. Гмелин, И.Г. Георги, П.С. Паллас, В.Ф. Зуев, Х.А. Чеботарёв, А.Н. Радищев, И.И. Лепехин, М.Д. Чулков, не слишком углубляясь в творческую биографию каждого. Но подобная манера, скорее, все-таки исключение, чем правило.

5.4. Опыты «культурного перевода»

В предыдущем параграфе мы рассмотрели «новоисторический» взгляд на проблему культурной идентичности. Следует отметить, что существуют и другие подходы к изучению этой проблемы. Например, обширные исследования проводятся в Центре перевода и сравнительных культурных исследований (*Center for translation and comparative cultural studies, univ. of Warwick, UK*), где эта проблематика получила название «культурного перевода». Целью культурного перевода является поиск возможных путей консолидации представителей различных народов и культур с учетом их национальных и общечеловеческих интересов. В «новом историзме» традиционно вся ответственность за успех в культурном взаимодействии возлагается на субъекта, но очень немного внимания уделяется вопросам, что собой представляет это взаимодействие и как оно возможно. Профессор английской литературы в индийском университете Дели Хариш Триведи [128] попробовал разобраться, какие возможности открывает культурный перевод для представителей неравнозначных культур.

Было время, когда отдельные народы жили довольно изолированно, и соседние, а тем более отдаленные, заокеанские народы никак не влияли на жизнь обычных европейцев. В эпоху Великих географических открытий Европа познакомилась с Америкой и Востоком. Война и торговля вынуждали людей разных континентов входить во все более тесные контакты. Как только народы с далеких континентов начали взаимодействовать друг с другом, возникла необходимость в культурном переводе. Как показывает подробное исследование оксфордского профессора С. Субрахманьяма, культурный перевод не только европейское, но и азиатское изобретение, поскольку не только европейцы XVI в. открывали для себя Америку и Азию. Имел место и обратный процесс: многие турецкие, а также индийские авторы интересовались тем, что происходит в мире за пределами их стран, отнюдь не впадая в идеологический универсализм.

«Историки могольской Индии настолько убеждены, что историки XVI в. нисколько не интересовались соседями, что они намеренно не обращают внимания на тексты, похожие на “Непорочный сад” Тагира Мухаммада. Другая сложность заключается в том, что в XVI в. мировую историю часто писали не профессиональные историки, а иные люди, имеющие отличную мотивацию. Таков случай с Тагиром Мухаммадом, с Генрико Мартинесом и с Мустафой Али, мировая история которого была одним из многих текстов, написанных им по собственной инициативе. По этой же причине была написана работа Антонио Гальвао (известного португальского автора. – *А.А.*)... Несколькими годами ранее, в 1572 г., оттоманский историк и политик Фаридун Бег написал “Историю французского падишаха”, в которой описывались события от меровингов до современных ему Валуа, Карла IX. Это исследование было предпринято для того, чтобы можно было заполучить новых союзников Оттоманской Порте (султанской Турции). Имея перед собой эти материалы, мы вынуждены раз и навсегда отойти от распространенного клише в отношении мусульманского мира, якобы слишком занятого собой и не интересующегося внешним миром» [124, с. 40–45].

Новые факты позволяют с большей уверенностью утверждать, что, начиная с эпохи Великих географических открытий, мир начал перемешиваться. И конечно, наряду с экономическими стимулами первооткрывателями двигал и обычный исследовательский интерес, гуманитарные последствия которого еще не до конца

определены. Таким образом, наука и научные исследования также играли важнейшую роль в сближении или отдалении отдельных народов, поскольку важнейшие научные труды сами по себе являлись формой перевода ценностей одной культуры на язык другой.

В 1667 г. вышла уже упоминавшаяся «Иллюстрированная энциклопедия Китайской империи» Афанасия Кирхера, знаменитого немецкого иезуита, обладавшего колоссальным набором знаний по самым разным предметам благодаря своим незаурядным способностям и обширной научной переписке, которую он неустанно вел в течение своей жизни с наиболее крупными исследователями своего времени. Обычно, когда вспоминают об этой энциклопедии, в первую очередь отмечают ее эклектичность. Кирхер собрал в ней и действительно имеющие научную ценность карты Китая, и некоторые недостоверные сведения, имеющие, скорее, мифологический характер, без какого-либо критического отношения (например, о китайских драконах).

Будучи миссионером, Кирхер старался доказать, что в Китае христианство существует уже очень давно и имеет глубокие корни, и не чурался привести в доказательство данные неподлинного характера. С обыденной точки зрения Кирхер не соблюдал правила научной этики, с точки же зрения культурного перевода можно сказать, что он плохо понимал язык китайской культуры и часто подменял непонятые им реалии образцами из доступной ему собственной культуры.

Что же касается Ч. Дарвина, о котором часто упоминают в дискуссиях о преодолении культурных границ, он имел ум уже более просвещенный и критический. Однако, как хорошо видно из предыдущего параграфа, и он предпринял путешествие с целью обнаружить подтверждение своей эволюционной теории, из которой следовало, что нормальный эволюционный процесс получил свое завершение в современных ему развитых европейских странах, в частности в Великобритании. Конечно, он относился к некоторым туземцам весьма почитательно, но надо помнить, что только к тем из них, которые признали английский колониализм правомерным, а английскую культуру более совершенной.

Политика колониализма была чрезвычайно выгодна европейцам начиная с XVI в. Она позволяла не только активно использовать природные ресурсы богатых континентов, но и давала возможность грабить соседние страны, нажившиеся за счет колониализма. Так, например, в 1577 г. английская королева Елизавета I отправляет

своего будущего рыцаря Ф. Дрейка (*Francis Drake*) к американскому побережью с тем чтобы он ограбил как можно больше испанских кораблей с серебром и другими богатствами Южной Америки.

Колониализм, просуществовавший как политический феномен до XX в., привел к целому ряду очевидных и долгосрочных последствий, которые и вынудили «цивилизованный» мир отказаться от политической и военной экспансии. Колониализм с самых первых дней своего существования заметно очернил себя повсеместной жестокостью, с которой европейские завоеватели обращались с коренными народами завоеванных стран, а также варварским обращением с территориями этих народов. Не менее значительным преступлением колониализма было истребление национальных культур коренных народов зоны влияния и насаждение единой европейской культуры с ее универсальными ценностями. Пороки колониализма стали выходить наружу, особенно в тот момент, когда ценности самой европейской культуры вдруг сами оказались под вопросом.

О культурном переводе как об отдельной дисциплине, выходящей за рамки обычной переводческой рутины, стали задумываться уже довольно поздно, в конце XIX в., в частности, когда была открыта русская литература, которую тоже было непросто перевести на английский язык [128]. И с тех самых пор культурный перевод – одна из самых проблемных гуманитарных дисциплин, поскольку так и остается неясным, какую функцию она выполняет и чьи интересы обслуживает.

Даже если предположить, как это делает Триведи [128], что существуют бескорыстные индивиды, которые осуществляют переводческую деятельность с целью сближения народов и улучшения взаимопонимания, означает ли это, что подобная переводческая деятельность может быть успешной. Этот вопрос Триведи рассматривает на примере фигуры Салмана Рушди (*Ahmed Salman Rushdie*), британского писателя индийского происхождения, автора «Сатанинских стихов» (*The satanic verses, 1988*), проклятого мусульманскими лидерами за свое поэтическое произведение. Будучи в разные периоды своей жизни носителем двух культур, С. Рушди, тем не менее, явно отдавал предпочтение европейской культуре. Поэтому Триведи и делает вывод, что выдающиеся писатели, переводчики и деятели культуры, подходя слишком ответственно к своей переводческой деятельности, нередко сами становятся носителями новой культуры, обесценивая саму переводческую деятельность.

Проблема «культурного перевода» сегодня является не чисто академической, научной, методологической. Это как раз та проблема, от решения которой зависит наш сегодняшний психологический комфорт и будущее мира. В документах ЮНЕСКО есть четкие положения, утверждающие, что каждый народ, независимо от своей численности, имеет право на самоидентификацию. Делу сохранения культуры малых народов служат различные этнографические музеи, расположенные как в Европе, так и на территории бывших колоний и малых государств. Несмотря на четкую формулировку официального документа, у каждого этнографического музея сложилась своя судьба.

В истории были этнографы, которым сразу удалось наладить тесный взаимовыгодный контакт с людьми, которых они изучали в естественных условиях. Например, таким был натуралист А. Хэддон (*Alfred Cort Haddon*), предпринявший антропологическую экспедицию на Торресовские острова в 1898 г. [75]. Местные жители были благодарны ему и его коллегам за то, что он впервые записал их язык, сохранил некоторые сакральные предметы, сфотографировал вождей и семьи и т.д. Однако такой пример, скорее, исключение.

Напротив, явно деструктивный характер носила политика Этнографического музея Алмазной компании в Анголе, направленная на обоснование легализации колониального курса Португалии, продолжавшей добычу алмазов на африканской территории. Этнография этого проекта целиком и полностью зависела от характера португальской политики.

В свое время совершенно конфликтный характер приняло обсуждение выставки африканской культуры в Смитсоновском институте США, причем по инициативе американских профессоров, а не африканских жителей. Эти профессора посчитали, что изображать различные народы Африки примитивными уже не стоит с учетом всего того, что было сказано в дискуссиях о колониализме. Специалисты в области культурного перевода делают сегодня большую и важную работу, однако необходимо отметить, что признание несправедливого отношения к жителям других частей света еще не продвигает нас на пути сближения с этими народами.

Очевидна довольно простая мысль. Даже если европейские страны не стремятся сегодня вести колониальную политику, они при этом не намерены сходить с рельс европейского прогресса и цивилизованного развития. Это, строго говоря, означает, что межкультурный диалог рано или поздно принимает форму культурной

ассимиляции. Возможно, эта ассимиляция будет проходить не в такой жесткой форме, как в Анголе усилиями Этнографического музея Алмазной компании, а в более дружественном формате, но означает ли это, что между неравными культурами происходит равноправный диалог?

К счастью или к сожалению, но следует признать, что сегодня мало кто стремится сохранить многообразие мира. Этнографические музеи, скорее, обслуживают современные интеграционные процессы, выписывая другие культуры как исторические вехи общей истории человечества. Иногда присутствие этнографа уже является непрямым свидетельством скорого исчезновения племени или народа [128]. Эта тенденция настолько распространена, что вряд ли имеет смысл ее оценивать.

Очевидно, что жертвой интеграционных процессов сегодня становятся малые народы, тогда как народы, значительные по численности, со своей яркой культурной спецификой, становятся открытыми антагонистами. В будущем возможно столкновение англоязычного мира с китайской культурой. Возможно, именно с этим связано особое внимание Центра перевода и сравнительных культурных исследований к китайскому языку и культуре. В частности, в декабре 2008 г. в Гонконге прошла специальная конференция этого центра, посвященная сложностям культурного перевода с китайского и на китайский язык.

Проблема культурного перевода сегодня уже выходит за рамки сравнительного литературоведения и становится основой политики взаимоотношения между народами. На плечи специалистов этой области перекадываются те самые обязанности, которые традиционно возлагались на международную дипломатию.

В журнале «Representations» статьи, окрашенные в тона постколониального исследования, не редкость. Здесь даже существует постоянно пополняемая рубрика «Национальная идентичность», в рамках которой, кстати, и была напечатана выше проанализированная статья о Ч. Дарвине. Помимо подавления малых африканских, южноамериканских и других народов авторы журнала регулярно возвращаются к несправедливым нацистскому и советскому режимам. Однако стоит признать, что эта тематика не является для «нового историзма» ключевой, поскольку авторы направления больше ориентированы на высвечивание творческих удач, культурных перевоплощений, а не трагически вымерших в результате культурного подавления культур.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучение такого научного направления, как «новый историзм», принадлежащего другой культурной традиции, связано с определенными сложностями. Ведь мы можем судить о нем только по тем публикациям, которые нам доступны. Эта задача усложняется в связи с тем, что «новый историзм» – еще существующее направление, несмотря на то, что его основатель преподает теперь не в Беркли, а в Гарварде, лучшем частном университете, по словам самого Гринблатта. Ведь основной печатный орган направления, журнал «Репрезентейшенс» по-прежнему регулярно издается и продолжает считаться одним из ведущих научных журналов в гуманитарной области. Однако несмотря на все сложности, можно сделать некоторые умозаключения относительно вопроса, что такое «новый историзм».

Подробный институциональный анализ показывает, что создатели направления и их коллеги, принявшие участие в развитии направления на более поздних этапах, не стремились отделиться от общего течения научных исследований в США, а наоборот, всеми силами старались вписаться в уже созданные институциональные рамки американского гуманитарного знания: система университетского образования, издание учебной, методической литературы, работа внутри наиболее важных профессиональных организаций США (*Modern language association*). Это стремление оказаться в центре профессионального пространства получило свое теоретическое обоснование у авторов направления.

Неслучайно Дж. Граф в программном для «нового историзма» сборнике с одноименным названием вводит специальный термин «кооптация» (*co-optation*) с целью описания тех оппозиционных научных направлений, которые могут быть адаптированы официальными институтами и структурами и легко пройти этап

легализации. Такие направления он называет условно оппозиционными. Эта система описания необходима для того, чтобы с самого начала определить, на какое именно место внутри научного сообщества претендует «новый историзм».

Этот же тезис подтверждает концепция «ниспровержения / сдерживания», которую Гринблатт предложил в своей статье «Невидимые пути», вышедшей в 1985 г. в сборнике «*Political Shakespeare*». Концепция также подразумевает определенный переход от позиции маргинала ко вполне определенному социальному статусу путем ограничения и сдерживания. Среди самих «новых историков» эту концепцию критиковали очень немногие. С ней не согласился, в частности, Л. Монроз, отказавшийся от такого упрощенного образа идеологии. Однако если Монроз считал эту теорию слишком статичной и закрытой для описания культуры Ренессанса, это еще не означает, что он не поддерживал общей ориентации «нового историзма» на профессиональный успех.

Гринблатт сумел привести своих коллег к победе. Этот первоначальный настрой на успех, как ни парадоксально, повлиял и на сам исследовательский подход, получивший распространение внутри направления. Можно признать несостоявшейся попытку Гринблатта описывать маргинальные явления, в частности, феномен гермафродитства в XVI в. Ему приходится признать, что в этот период подлинного гермафродитства еще не существовало, поскольку не существовало индивида, который отстаивал бы свое право на девиантное поведение (отклонение), вопреки мнению общества. Таким образом, концепция Гринблатта приходит в противоречие с той, которая была предложена известным швейцарским историком культуры XIX в. Якобом Буркхардтом. Гринблатт считал, что в раннее Новое время индивидуализм встречался лишь эпизодически, за что неоднократно подвергался критике.

Если собственная концепция не позволила Гринблатту признать зачатки индивидуализма в эпоху Ренессанса, то она открыла широкие возможности для того, чтобы описывать процессы аккультурации, или процесс демаргинализации. Один из ярких примеров аккультурации Гринблатт находит в исторических драмах Шекспира «Генрих IV» (1-я и 2-я части) и «Генрих V», где эта концепция реализуется на примере самого Генриха V, или принца Хелла, беспутного в молодости и мудрого после своего восшествия на престол. Эта интерпретация вряд ли имеет отношение к подлинной

истории, но именно литературная версия Шекспира имеет для Гринблатта наиболее существенное значение.

Внутри «нового историзма» это направление исследований получило весьма широкое распространение. Новое осмысление получила концепция подсознательного З. Фрейда. Под «демаргинализацией» в данном случае понимается осознание подсознательного человека. В качестве предмета для анализа исследователи выбирают рисунки, сделанные машинально, случайные наброски, зарисовки, не создававшиеся ради выставления или продажи. Наброскам математика Ч. Пирса, физика П. Дирака, скульпторов Теофиля Бра и Г. Мура посвящен отдельный номер журнала «Репрезентейшенс».

Возможно, это прозвучит парадоксально, но для «нового историзма» маргинальной также является и культура элитарная. Объяснение этому приводится очень простое. Элитарная культура, как правило, является достоянием меньшинства, отдельной социальной группы, незначительной по численности. В этом смысле под исследования «демаргинализации» также подпадают те, в которых рассматриваются процессы культурной национализации в результате изменения социального устройства. Именно это произошло во Франции в конце XVIII в., поэтому создание во Франции в 1795 г. Французской национальной библиотеки рассматривается исследователем Ф. Коннеллом в терминах «национализации культурного пространства» и «демократизации знания».

Многие исследователи отмечают интерес авторов журнала «Репрезентейшенс» к изучению отдельных фрагментов культуры, а не культурной целостности. Пожалуй, стоит признать в этой оптике намерение, а не случайность. Исключительный интерес к частично утерянным, поврежденным, недописанным текстам выдает особое отношение в «новом историзме» ко времени, осознание его необратимости, непоправимости его разрушительного воздействия. Формально эстетика фрагментарности была позаимствована во французской культуре XVIII в., но применялась при исследовании самых различных, в том числе и более поздних культур. Наиболее интересными с точки зрения исследования фрагментарности оказались работы, посвященные восстановлению текста «Ифигении в Авлиде» Еврипида, интерпретации романа Эмили Бронте «Грозовой перевал», анализу пасторального жанра.

Особое понимание феномена времени повлекло за собой развитие внутри «нового историзма» специфической концепции исторического познания. Здесь удалось рассмотреть несколько более

узких вопросов, например, исследовательское пространство историка. В отличие от историков «новые историки» заново пытаются рассмотреть вопрос аутентичности исторического архива в историческом познании. В качестве альтернативы традиционному архиву рассматривается музей или другое особое место, связанное с коллективной или индивидуальной памятью. Подобная постановка вопроса вряд ли могла бы возникнуть у историка, но в рамках такого междисциплинарного направления, как «новый историзм», она возможна и даже желательна.

Существуют и другие темы исторического плана, которые обсуждаются на страницах журнала «Репрезентейшенс», например проблема исторической дистанции. Историки редко задаются вопросом, что такое историческая дистанция, в какой момент и каким образом современность преобразуется в историю, что именно их отличает друг от друга. А между тем «новым историкам» эти вопросы кажутся крайне важными как с психологической, так и с идеологической точек зрения. По сути, для них без ответов на эти вопросы само по себе исследование истории оказывается лишенным смысла. Эти вопросы рассматриваются, в том числе, и на примере осмысления битвы при Ватерлоо 1815 г. Огромную роль в этой дискуссии сыграло понятие «платины времени», проинтерпретированное в «новом историзме» особым образом.

Помимо вопроса об исторической дистанции в «новом историзме» обсуждается еще одна «историческая» проблема, а именно образ историка в культуре. Гендерная проблематизация кажется Майку Гуду наиболее удачной для описания исторического портрета историка на примере романа Вальтера Скотта «Антикварий». Предлагаемый угол зрения не должен слишком удивлять с учетом интеллектуальной близости «нового историзма» и «феминистического литературоведения». Хотя это близость и такого рода, что так и не перешла в близкое родство. В случае с «Антиквариумом» гендерное описание образа историка имеет и эвристическое значение, поскольку наталкивает читателя на исторические персоналии, отраженные в романе (например, большое значение имеет отсылка к известному историку конца XVIII в. Эдмунду Бёрку).

Особым объектом изучения в «новом историзме» оказываются не только история, но и естественные науки. Сопоставляя канонические образы шведского натуралиста Карла Линнея, английского естествоиспытателя Чарльза Дарвина, американского физика Ричарда Фейнмана с реальными людьми, стоявшими за этими об-

разами, авторы Лисбет Кернер, Кэнон Шмит и Дэвид Кайзер находят другие объяснения научного успеха, нежели те, к которым мы привыкли. И это заставляет не только пересмотреть наше отношение к культовым фигурам науки, но и вновь задаться вопросом, хорошо ли мы знаем, что такое сама «научность», каким образом это понятие формируется в нашем сознании и существует в нем.

Например, с точки зрения «нового историзма» важной является не только проблема псевдонаучного знания (об этом размышляют науковеды всех направлений), но и такая культурологическая проблема, как визуальные формы передачи знания, существующая на пересечении двух дисциплин: искусствоведения и науковедения. Проблема визуализации в науке рассматривается в «новом историзме» довольно подробно. Примеры подобных исследований приведены в третьей и пятой главах. Важно отметить, что авторы направления особенно выделяют такие случаи, в которых зрительный образ или изображение оказывают почти что мистическое воздействие на зрителей. Например, Д. Кайзер утверждает, что диаграммы Фейнмана оказались настолько удобными для использования, что применялись даже тогда, когда физическая теория, описываемая ими, уже казалась устаревшей.

Очевидно, что, избрав междисциплинарный подход в качестве основополагающего, «новые историки» обладают теми преимуществами, которых нет у литературоведов, историков, искусствоведов и науковедов, ограниченных рамками своей дисциплины. Однако важно помнить, что междисциплинарный подход имеет сегодня не только своих сторонников, но и критиков. Наиболее существенно замечание о том, что в рамках междисциплинарных исследований исследователи часто соединяют различные по природе объекты, но редко задумываются о том, чтобы использовать методы разных дисциплин. Эта последняя задача требует и большего мастерства, и большего вкуса, и специальных навыков. Таково мнение канадской исследовательницы Линды Хатчеон.

История «нового историзма» – это история успеха. Это можно сказать как о профессиональной карьере основных его представителей, так и об историях, рассказываемых самими исследователями. Мы не можем не заметить, что героями статей и монографий здесь обычно становятся люди неординарные, выдающиеся, талантливые, активные. То же самое можно сказать и о культурах, которые исследуют «новые историки». Даже если поначалу исследователю представляются одни фрагменты, то постепенно они

складываются в живописную мозаику. А что же происходит с теми людьми и культурами, которые оказываются по другую сторону, не выдерживают конкуренции, бессильны в борьбе? И кто занимается их изучением? Для того чтобы специфика «нового историзма» была нагляднее, в книге предлагается небольшой очерк, посвященный «культурному переводу», дисциплине очень близкой «новому историзму», но принципиально от него отличающейся.

Эта дисциплина интересна тем, что в ней поднимаются проблемы, очень похожие на те, которые ставит «новый историзм»: национальная и культурная идентичность, культурные войны, проблема культурного диалога, ассимиляция и аккультурация и т.д. Но предлагаемые решения не имеют ничего общего.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Аверинцев С.С.* Филология // Большая советская энциклопедия. – Изд. 3-е. – М.: Советская энциклопедия, 1977. – Т. 27. – С. 410–412. – Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/aver/filol.php
2. *Аристотель.* Поэтика. Риторика / Пер. с греч., вступ. ст. и коммент. С.Ю. Трохачева – СПб.: Азбука, 2000. – 348 с.
3. *Бэкон Ф.* О достоинстве и приумножении наук // Бэкон Ф. Соч.: В 2 т. – М.: Мысль, 1971. – Т. 1. – С. 85–546. – Режим доступа: <http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000452/>
4. *Гириц К.* Интерпретация культур. – М.: Росспэн, 2004. – 560 с. – (Культурология. XX век). – Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/girc/index.php
5. *Гудков Л., Дубин Б., Страда В.* Литература и общество: Введение в социологию литературы. – М.: Российск. гос. гуманитарн. ун-т, 1998. – 80 с.
6. *Зенкин С.* Филологическая иллюзия и ее будущность // НЛЮ. – М., 2001. – № 47. – С. 72–77.
7. *Ильин И.П.* Культурная критика // Западное литературоведение XX в.: Энциклопедия. – М.: Intrada, 2004. – С. 201–203.
8. *Касаткина В.Н.* История литературы // Литературная энциклопедия терминов и понятий / Гл. ред. и сост. А.Н. Николюкин; ИНИОН РАН. – М.: НПК «Интелвак», 2001. – С. 331.
9. *Козлов С.* На rendez-vous с «новым историзмом» // НЛЮ. – М., 2000. – № 42. – С. 5–12.
10. *Компаньон А.* Демон теории. – М.: Издательство им. Сабашниковых, 2001. – 336 с.
11. *Манхейм К.* Диагноз нашего времени. – М.: Юристь, 1994. – 704 с. – (Лики культуры).
12. *Мейнке Ф.* Возникновение историзма. – М.: Росспэн, 2004. – 480 с. – (Книга света).

13. *Монроз Л.А.* Изучение Ренессанса: поэтика и политика культуры // НЛЮ. – М., 2000. – № 42. – С. 13–36.
14. *Монтень М.* О силе нашего воображения // Монтень М. Опыты: В 3 книгах. – 2-е изд. – М.: Наука, 1979. – Кн. 1 и 2, Гл. 21. – С. 91–100.
15. *Про А.* Двенадцать уроков по истории. – М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 2000. – 336 с.
16. *Репина Л.П.* Вызов постмодернизма и перспективы новой культурной и интеллектуальной истории // Одиссей: Человек в истории. Ремесло историка на исходе XX века. – М.: Coda, 1996. – С. 25–38.
17. *Репина Л.П.* «Новая историческая наука» и социальная история / Ин-т всеобщ. истории РАН. – М., 1998. – 282 с.
18. *Ридингс Б.* Университет и идея культуры (Глава из книги: Readings В. The university in ruins) // Отечественный записки. – 2003. – № 6. – Режим доступа: <http://www.strana-oz.ru/?numid=15&article=722>
19. *Смирнов И.П.* Новый историзм как момент истории // НЛЮ. – М., 2001. – № 47. – С. 41–71.
20. Теоретическая поэтика: Понятия и определения: Хрестоматия для студентов / Авт.-сост. Н.Д. Тамарченко. – М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 2002. – 467 с.
21. *Титов В.Н.* Институциональный и идеологический аспект функционирования науки // Социологические исследования. – М., 1999. – № 8. – С. 62–70.
22. *Глостанова М.В.* Культурные исследования // Западное литературоведение XX века: Энциклопедия – М.: Intrada, 2004. – С. 205–207.
23. *Уайт Х.* Метаистория: Ист. воображение в Европе XIX в. – Екатеринбург: Изд-во Ур. ун-та, 2002. – 527 с. – (Studia humanitatis; Т. 8).
24. *Уайт Х.* По поводу «нового историзма» // НЛЮ. – М., 2000. – № 42. – С. 37–46.
25. *Фесенко Р.А.* Предисловие. Кризис организации управления наукой в США // Национальная академия наук и организация исследований в США: Реферативный сборник / ИНИОН РАН. – М., 1977. – С. 5–18.
26. *Фуко М.* История безумия в классическую эпоху. – СПб.: Рудомино; Университетская книга, 1997. – 576 с. – (Книга света).
27. *Фуко М.* Рождение клиники. – М.: Смысл, 1998. – 310 с.
28. *Ханаева Д.Р.* Герцоги республики в эпоху переводов: Гуманитарные науки и революция понятий. – М.: Новое лит. обозрение, 2005. – 260 с.
29. *Цурганова Е.А.* «Новая критика» // Западное литературоведение XX в.: Энциклопедия. – М.: Intrada, 2004. – С. 287–291.
30. *Шайтанов И.* «Бытовая» история // Вопросы литературы. – М., 2002. – № 2. – С. 3–24. – Режим доступа: <http://magazines.russ.ru/voplit/2002/2/sh.html>
31. *Якобсон Р.* Лингвистика и поэтика // Структурализм: «За» и «против». – М.: Прогресс, 1975. – С. 193–203. – Режим доступа: <http://philologos.narod.ru/classics/jakobson-lp.htm>

32. *Alpers P.* «The Philoctetes problem» and the poetics of pastoral // Representations. – Berkeley, 2004. – Vol. 86. – P. 4 – 19.
33. *Ankersmit F.R.* An appeal from the new to the old historicists // History and theory. – Middletown, 2003. – Vol. 42, N 2. – P. 253–270.
34. *Armstrong C.* The reflexive and the possessive view: Thoughts on Kertesz, Brandt, and the photographic nude // Representations. – Berkeley, 1989. – Vol. 25. – P. 57–70.
35. *Arnold M.* Culture and anarchy and other writings. – Cambridge: Cambridge univ. press, 1993. – 248 p.
36. *Baer U.* To give memory a place: Holocaust photography and the landscape tradition // Representation. – Berkeley, 2000. – Vol. 69. – P. 38–62.
37. *Barkan L.* The beholder's tale: Ancient sculpture, renaissance narratives // Representations. – Berkeley, 1993. – Vol. 44. – P. 133–167.
38. *Billings T.* Jesuir fish in Chinese nets: Athanasius Kircher and the translation of Nestorian tablet // Representations. – Berkeley, 2004. – Vol. 87. – P. 1–42.
39. *Bloom H.* The western canon: The books and school of the ages. – N.Y.: Berkeley publishing group, 1995. – 546 p.
40. *Borchert J.* Ordinary people and everyday life: Social history for local historical organizations // Local history notebook. – Ohio, 1990. – July–Aug. – Mode of access: <http://www.ohiohistory.org/resource/oahsm/notebook/julaug1990.html>
41. *Carroll M.* The erotics of absolutism: Rubens and the mystification of sexual violence // Representations. – Berkeley, 1989. – Vol. 25. – P. 3–30.
42. *Clare J.* Transgressing boundaries: Women's writing in the renaissance and reformation // Renaissance forum [электронный журнал]. – Hull, 1996. – Vol. 1, N 1. – Mode of access: <http://www.hull.ac.uk/renforum/v1no1/clare.htm>
43. *Clark T.J.* Freud's Cézanne // Representations. – Berkeley, 1995. – Vol. 52 – P. 94–122.
44. *Cohen W.* Marxist criticism // Redrawing the boundaries: The transformation of English and American literary studies / Eds. S. Greenblatt, G.Gunn. – N.Y.: Modern language association of America, 1992. – P. 320–348.
45. Columbia literary history of the United States / Ed. E.Elliott. – N.Y.: Columbia univ. press, 1988. – 1263 p.
46. *Connell Ph.* Bibliomania: Book collecting, cultural politics, and the rise of literary heritage in romantic Britain // Representations. – Berkeley, 2000. – Vol. 71. – P. 24–47.
47. *Culler J.* Framing the sign: Criticism and its institutions. – Norman: Univ. of Oklahoma press, 1988. – XVIII, 237 p.
48. *Darnton R.* Mademoiselle Bonafon and the private life of Louis XV: Communication curcuits in eighteen-century France // Representations. – Berkeley, 2004. – Vol. 87. – P. 102–124.

49. *Delbanco A.* The decline and fall of literature // The New York review of books. – N.Y., 1999. – Vol. 46, N 17. – Mode of access: <http://www.nybooks.com/articles/318>
50. *Derdzinski M.* «Invisible bullets»: Unseen potential in Stephen Greenblatt's new historicism // *Connotations*. – N.Y.: Waxmann Verlag Münster, 2001–2002. – Vol. 11, N 2–3. – P. 272–290. – Mode of access: <http://www.uni-tuebingen.de/uni/nec/derdzinski1123.htm>
51. *Doyle J.* Sex, scandal, and Thomas Eakins's *The gross clinic* // *Representations*. – Berkeley, 1999. – Vol. 68. – P. 1–34.
52. *Dubrow H.* The newer historicism // *Clio*. – Fort Wayne, 1996. – Vol. 25, N 4. – P. 421–438.
53. *Fineman J.* The history of the anecdote: Fiction and friction // *The New historicism* / Ed. H.A. Veesper. – L.; N.Y.: Routledge, 1989. – P. 49–76.
54. *Fox-Genovese E.* Literary criticism and the politics of the new historicism // *The new historicism* / Ed. H.A. Veesper. – L.; N.Y.: Routledge, 1989. – P. 213–224.
55. *Gallagher C.* The industrial reformation of english fiction: Social discourse and narrative form, 1832–1867. – Chicago; L.: Univ. of Chicago press, 1985. – XV, 320 p.
56. *Gallagher C.* Marxism and the new historicism // *The new historicism* / Ed. H.A. Veesper. – L.; N.Y.: Routledge, 1989. – P. 37–49.
57. *Graff G.* Co-optation // *The new historicism* / Ed. by H.A. Veesper. – L.; N.Y.: Routledge, 1989. – P. 168–181.
58. *Graff G.* *Professing literature: An institutional history*. – Chicago: Univ. of Chicago press, 1989. – 315 p.
59. *Greenblatt S.* *Hamlet in purgatory*. – Princeton: Princeton univ. press, 2001. – 322 p.
60. *Greenblatt S.* *Marvelous possessions: The wonder of the new world*. – Chicago: Univ. of Chicago press, 1991. – 202 p.
61. *Greenblatt S.* *Renaissance self-fashioning: From More to Shakespeare*. – Chicago: Univ. of Chicago press, 1983. – 321 p.
62. *Greenblatt S.* *Shakespearean negotiations: The circulation of social energy in renaissance England*. – Berkeley; Los Angeles; L.: Univ. of California press, 1989. – 205 p. – (New historicism: Studies in cultural poetics; N 84).
63. *Greenblatt S.* *Towards a poetics of culture* // *The new historicism* / Ed. H.A. Veesper. – L.; N.Y.: Routledge, 1989. – P. 1–15.
64. *Greenblatt S.* *What is the history of literature?* // *Critical Inquiry*. – Chicago: Univ. of Chicago press, 1997. – Vol. 23, N 3. – P. 460–481.
65. *Goldberg J.* *James I and the politics of literature: Jonson, Shakespeare, Donne and their contemporaries*. – Stanford (Cal.): Stanford univ. press, 1989. – XVII, 292 p., ill.
66. *Goldberg J.* *The politics of renaissance literature: a review essay* // *English literary history*. – Baltimore, 1982. – Vol. 49. – P. 514–542.

67. *Goldman P.* Hamlet's ghost: A review article // *Anthropoetics: The journal of generative anthropology* [электронный журнал]. – 2001. – Vol. 7, N 1. – Mode of access: <http://www.anthropoetics.ucla.edu/ap0701/hamlet.htm>
68. *Gombrich E.* Art and illusion: A study in the psychology of pictorial representation. – Princeton: Princeton univ. press, 1969. – 466 p.
69. *Goode M.* Dryasdust antiquarianism and soppy masculinity: The Waverly novels and the gender of history // *Representations*. – Berkeley, 2003. – Vol. 82. – P. 52–86.
70. *Goodman N.* Languages of art: An approach to a theory of symbols. – 2 ed. – Indianapolis: Hacklett publishing company, 1976. – 271 p.
71. *Gurd S.* On text-critical melancholy // *Representations*. – Berkeley, 2004. – Vol. 88. – P. 81–101.
72. *Halpern R.* Shakespeare among the moderns. – N.Y.: Cornell univ. press, 1997. – 294 p.
73. *Halpern R.* Shakespeare in the tropics: From high modernism to new historicism // *Representations*. – Berkeley, 1994. – Vol. 45. – P. 1–25.
74. *Hein H.S.* The museum in transition: A philosophical perspective. – Washington: Smithsonian institution press, 2000. – 203 p.
75. Herle A. Torres Strait Islanders: Stories from an exhibition // *Ethnos*. – Stockholm, 2000. – Vol. 65, N 2. – P. 253–274.
76. A historian revisits the archives: Randolph Starn on authenticity // *News of the National humanities center*. – North Carolina, 2004. – Aut. – P. 1, 10–11. – Mode of access: <http://nationalhumanitiescenter.org/newsletter2004/nhcnewsfall2004.pdf>
77. *Hohendahl P.U.* A return to history? The new historicism and its agenda // *New german critique* [электронный журнал]. – Durham, 1992. – Vol. 55. – P. 87–104.
78. *Hutcheon L.* Disciplinary formation, faculty pleasures, and student risks // *Association of department of English bulletin*. – N.Y., 1997. – Vol. 117. – P. 19–22.
79. *Jardin L.* No offence i' th' world': Hamlet and unlawful marriage // *Uses of history: Marxism, postmodernism and the renaissance* / Eds. F. Baker, P. Hume, M. Iverson. – Manchester: Manchester univ. press, 1991. – P. 123–139.
80. *The Johns Hopkins guide to literary theory and criticism* / Eds. M. Croden, M.Kreiswith. – Baltimore: The John Hopkins univ. press, 1993. – 775 p.
81. *Kaiser D.* Stick-figure realism: Conventions, reification, and the persistence of Feynman diagrams, 1948–1964 // *Representations*. – Berkeley, 2000. – Vol. 70. – P. 67–86.
82. *Keller J.R.* Oliver Stone's JFK and the «circulation of social energy» and the «textuality of history» // *Journal of popular film and TV*. – Washington, 1993. – Vol. 22, N 2. – P. 72–79.
83. *Koerner L.* Linnaeus' floral transplants // *Representations*. – Berkeley, 1994. – Vol. 47. – P. 144–169.

84. *Koerner L.* Linnaeus: Nature and nation. – Cambridge (Mass.); L.: Harvard univ. press, 1999. – 298 p.
85. *Laqueur Th.* Making sex: Body and gender from greek to Freud. – Cambridge (Mass.); L.: Harvard univ. press, 1992. – 313 p.
86. *Laqueur Th.* Orgasm, generation and the politics of reproductive biology // Representations. – Berkeley, 1986. – Vol. 14. – P. 1–41.
87. *Latour B., Woolgar S.* Laboratory life: The social construction of scientific facts. – 2 ed. – Princeton: Princeton univ. press, 1986. – 294 p.
88. *Leja M.* Pierce, visuality and art // Representations. – Berkeley, 2000. – Vol. 72. – P. 107–108.
89. *Lentricchia F.* After the new criticism. – Chicago: The univ. of Chicago press, 1980. – XIV, 384 p.
90. Literary criticism and historical understanding / Ed. by Ph. Damon. – N.Y.: Columbia univ. press, 1967. – VII, 190 p. – (Selected papers from the English institute).
91. *Lovejoy A.O.* The great chain of being: A study of history of an idea. – Cambridge (Mass.); L.: Harvard univ. press, 1964. – 382 p.
92. *Lynch M., Edgerton S.Y.* Aesthetics and digital image processing: Representational craft in contemporary astronomy // Picturing power. – L.; N.Y., 1988. – P. 184–220.
93. *Macpherson S.* Rent to own; or, What's entailed in «Pride and prejudice» // Representations. – Berkeley, 2003. – Vol. 82. – P. 1–23.
94. *McAlindon T.* Testing the new historicism: «invisible bullets» reconsidered // Studies in philology. – Chapel Hill, 1995. – Vol. 92, N 4. – P. 411–438.
95. *McGann J.* The beauty of inflections: Literary investigations in historical method and theory. – N.Y.: Oxford univ. press, 1988. – 364 p.
96. *Miller D.* The father's witness: Patriarchal images of boys // Representations. – Berkeley, 2000. – Vol. 70. – P. 115–141.
97. *Miller J.H.* The triumph of theory, the resistance to reading and the question of material base: MLA presidential address // PMLA: Publications of the Modern language association. – N.Y., 1987. – Vol. 102, N 3. – P. 281–291.
98. *Montrose L.A.* The Elizabethan subject and the Spenserian text // Literary theory renaissance texts / Eds. P. Parker, D. Quint. – Baltimore: Johns Hopkins univ. press, 1986. – P. 303–340.
99. *Naginski E.* Drawing the crossroads // Representations. – Berkeley, 2000. – Vol. 72. – P. 64–81.
100. The new historicism / Ed. H.A. Veenser. – N.Y.; L.: Routledge, 1989. – XVI, 317 p.
101. The new museology / Ed. P. Vergo. – L.: Reaktion books, 1997. – 230 p.
102. The Norton Shakespeare: Based on the Oxford edition: Romances and poems / Ed. W. Cohen, J.E. Howard, K.E. Maus, S. Greenblatt. – 2 ed. – N.Y.: W.W. Norton & company, 2008. – 1104 p.

103. *Patterson A.* Reading Holinshed's Chronicles. – Chicago: Univ. of Chicago press, 1994. – 339 p.
104. *Pechter E.* The new historicism and its discontents: Politicizing renaissance drama // PMLA: Publications of the Modern language association. – N.Y., 1987. – Vol. 102, N3. – P. 292–303.
105. *Pieters J.* Moments of negotiation: The new historicism of S. Greenblatt. – Amsterdam: Amsterdam univ. press, 2001. – 342 p.
106. Political Shakespeare: Essays in cultural materialism / Ed. J. Dollimore, A. Sinfield. – 2 ed. – N.Y.: Cornell univ. press, 1994. – 304 p.
107. *Prendergast Ch.* Circulating representations: New historicism and the poetics of culture // SubStance. – Baltimore, 1999. – Vol. 28, N 1. – P. 90–104.
108. *Prince G.* A dictionary of narratology. – Lincoln: Univ. of Nebraska press, 2003. – 126 p.
109. R. Reagan remembered // The chronicle of higher education. – Washington, 2004. – 18 June. – P. A24–A25.
110. Redrawing the boundaries: The transformation of English and American literary studies / Eds. S. Greenblatt, G. Gunn. – N.Y.: Modern language association of America, 1992. – 595 p.
111. *Rogin M.P.* Kiss me deadly: Communism, motherhood, and cold war movies // Representations. – Berkeley, 1984. – Vol. 6. – P. 1–36.
112. *Schmidt C.* Darwin's savage memories // Representations. – Berkeley, 2004. – Vol. 88. – P. 56–80.
113. *Semmel S.* Reading the tangible past: British tourism, collecting, and memory after Waterloo // Representations. – Berkeley, 2000. – Vol. 69. – P. 9–37.
114. *Sinfield A.* Power and ideology: An outline theory and Sidney's Arcadia // English literary history. – Baltimore, 1985. – Vol. 52. – P. 259–277.
115. *Slezkine Y.* Naturalists versus nations: Eighteenth-century russian scholars confront ethnic diversity // Representations. – Berkeley, 1994. – Vol. 47. – P. 170–195.
116. *Smith B.* The gender of history: Man, woman, and historical practice of history. – Cambridge (Mass.): Harvard univ. press, 1998. – 306 p.
117. *Snow E.* Theorizing the male gaze: Some problems // Representations. – Berkeley, 1989. – Vol. 25. – P. 30–41.
118. *Spencer T.* Shakespeare and the nature of man. – N.Y.: Macmillan, 1961. – 238 p.
119. *Starn R.* A historian's brief guide to new museum studies // The American historical review. – Washington, 2005. – Vol. 110, N 1. – P. 68–99. – Mode of access: <http://www.historycooperative.org/journals/ahr/110.1/starn.html>
120. *Starn R.* Three ages of «patina» in painting // Representations. – Berkeley, 2002. – Vol. 78. – P. 86–115.

121. *Stephens M.* The professor disenchantment: S.Greenblatt and the new historicism // West. – 1992. – 1 March. – Mode of access: <http://www.nyu.edu/classes/stephens/Greenblatt%20page.htm>
122. *Stevens P.* Pretending to be real: S.Greenblatt and the legacy of popular existentialism // New literary history. – Baltimore, 2002. – Vol. 33, N 3. – P. 491–519.
123. *Steward S.* The ballad in «Wuthering Heights» // Representations. – Berkeley, 2004. – Vol. 86. – P. 175–197.
124. *Subrahmanyam S.* On world historians in the sixteenth century // Representations. – Berkeley, 2005. – Vol. 91. – P. 26–58.
125. *Taufe A.* Holinshed's Chronicles. – N.Y.: Twayne publishers, 1999. – 164 p.
126. *Thomas B.* The new historicism and other old-fashioned topics. – Princeton: Princeton univ. press, 1991. – 254 p.
127. *Tillyard E.* The Elizabethan world picture. – L.: Vintage, 1959. – 128 p.
128. *Trivedi H.* Translating culture vs. cultural translation // 91st meridian (электронный журнал). – Un. of Iowa, 2005. – May. – Mode of access: http://iwp.uiowa.edu/91st/vol4_n1/pdfs/trivedi.pdf
129. *Turner G.* British cultural studies: An introduction / Ed. G. Turner. – 2 ed. – L.; N.Y.: Routledge, 1996. – 259 p.
130. *Veese H.A.* Introduction // The new historicism / Ed. H.A. Veese. – L.; N.Y.: Routledge, 1989. – P. IX–XVI.
131. *Vickers B.* Appropriating Shakespeare: Contemporary critical quarrels. – New Haven: Yale univ. press, 1993. – 525 p.
132. *Waterman S.* Collecting the nineteenth century // Representations. – Berkeley, 2005. – Vol. 90. – P. 98–128.
133. *Williams R.* Problems in materialism and culture: Selected essays. – L.: Verso, 1996. – 277 p.
134. *Wilson L.* William Harvey's prelections: The performance of the body in the renaissance theater of anatomy // Representations. – Berkeley, 1987. – Vol.17. – P. 62–95.
135. *Wimsatt W.K.* The intentional fallacy // Wimsatt W.K., Beardsley M.C. The verbal icon: Studies in the meaning of poetry. – Lexington: Univ. press of Kentucky, 1954. – P. 3–21.
136. *Wu Hung.* The transparent stone: Inverted vision and binary imagery in medieval Chinese art // Representations. – Berkeley, 1994. – Vol. 46. – P. 58–86.
137. *Wynne-Davies M.* Sidney to Milton, 1580–1660. – N.Y.: Palgrave Macmillan, 2003. – 256 p.

Анисимова А.Э.

**«НОВЫЙ ИСТОРИЗМ»:
НАУКОВЕДЧЕСКИЙ АНАЛИЗ**

Оформление обложки И.А. Михеев
Художественный редактор Т.П. Солдатов
Технический редактор Н.И. Романова
Корректор М.П. Крыжановская
Компьютерная верстка Л.Н. Сиякова

Гигиеническое заключение
№ 77.99.6.953.П.5008.8.99 от 23.08.1999 г.
Подписано к печати 14/ХП – 2009 г.
Формат 60x84/16 Бум. офсетная № 1.
Печать офсетная Свободная цена
Усл. печ. л. 9,75 Уч.-изд. л. 8,0
Тираж 300 экз. Заказ № 194

**Институт научной информации по общественным наукам РАН,
Нахимовский проспект, д. 51/21, Москва, В-418, ГСП-7, 117997
Отдел маркетинга и распространения информационных изданий
Тел. / Факс: (499) 120-45-14
E-mail: market@INION.ru**

**E-mail: ani-2000@list.ru
(по вопросам распространения изданий)**

Отпечатано в типографии ИНИОН РАН
Нахимовский проспект, д. 51/21,
Москва, В-418, ГСП-7, 117997
042(02)9

